

Е. КЮРИ

Мария КЮРИ



Мария КЮРИ

Е. КЮРИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

Е. Ф. КОРША

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ПРОФЕССОРА В. В. АЛПАТОВА

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ



МОСКВА
АТОМИЗДАТ
1977

530.4

К-99

УДК 539.16(092.44)

Кюри Е.
К-99 Мария Кюри. Пер. с франц. Изд. 4-е. М.,
Атомиздат, 1977
328 с., 0,5 л. илл.

Ни одна женщина-ученый не пользовалась такой известностью, как Мария Кюри. Ей было присуждено десять премий и шестнадцать медалей. М. Кюри была избрана почетным членом ста шести научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, с 1912 г. — членом Института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 г. — почетным членом научного института в Москве и с 1926 г. — почетным членом Академии наук СССР.

Биография Марии Кюри написана ее младшей дочерью Еюй, журналистом по профессии. Книга вышла в свет на французском языке в 1937 г. и выдержала во Франции более ста изданий. Помимо этого, она переведена на двадцать пять языков и в переводах иногда выходила в десяти—двенадцати изданиях на одном языке. Книга уже трижды издавалась на русском языке (в 1967, 1968 и 1973 гг.).

Наши читатели с большим интересом прочтут эту книгу.

530.4+53(09)

К 20401—093
034(01)—77 БЗ—19—8—1976

© Перевод на русский язык, Атомиздат, 1977

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мария Кюри — знаменитый физик и химик — вместе со своим мужем Пьером Кюри положила начало новой эре в истории человечества — эре изучения и использования атомной энергии.

Предлагаемая книга по праву завоевала симпатии советских читателей. Каждое ее издание расходуется в недельные сроки. В букинистических магазинах книга чрезвычайно редка. Попадая в личную библиотеку читателя, она крепко приживается, так как ее приятно перечитывать время от времени.

Ни одна женщина-ученый XX века не пользовалась такой популярностью на всем земном шаре, как Мария Кюри.

Мария Кюри — первая женщина дважды лауреат Нобелевской премии — высшей международной почести, которой отмечается труд ученых. Таких наград не удостаивался до наших дней ни один ученый мира. Мария Кюри была избрана почетным членом ста шести различных научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, с 1912 года — членом Института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 года — почетным членом Научного института в Москве и с 1926 года — почетным членом Академии наук СССР.

Мария и Пьер Кюри, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри... История науки всех времен и всех народов не знает примера, чтобы две супружеские пары в двух последовательных поколениях внесли столь большой вклад в науку, как семья Кюри. В 1903 году старшее поколение Кюри — Мария и Пьер — получают Нобелевскую премию за открытие явления радиоактивности, а через тридцать два года, в 1935 году, их дочь Ирен вместе со своим мужем Фредериком Жолио-Кюри также получают Нобелевскую премию по физике за исследования в той же области.

Нередко можно слышать вопрос о том, кто был гениальнее: Пьер или Мария? Кому принадлежит большая роль в сделанном открытии? Читатель книги сам сможет убедиться в праздности этого вопроса. Истинная наука — это дело коллективного труда людей, и определить долю отдельных ученых в итогах научных исследований — задача чрезвычайно трудная и подчас ненужная.

Хотелось бы отметить следующее. Мария Кюри пережила своего мужа на двадцать восемь лет, и за это время в значительной степени ее трудами учение о радиоактивности выросло в новую отрасль физики и химии. Благодаря ее организаторской деятельности, радиоактивность нашла широкое применение в медицине, в первую очередь в лечении рака.

Чрезвычайный интерес и уважение к двум поколениям Кюри-ученых объясняется еще и их высокими моральными качествами. Пьер и Мария могут считаться примером того бескорыстного служения науке, той беззаветной преданности своему призванию, о котором писал наш великий физиолог академик И. П. Павлов в письме к советской молодежи. Эта преданность науке привела к тому, что жизнь обоих поколений Кюри была в прямом смысле принесена ей в жертву. Мария Кюри, ее дочь Ирен и зять Фредерик Жолио-Кюри умерли от лучевой болезни, возникшей в результате многолетней работы с радиоактивными веществами.

Вот что пишет М. П. Шаскольская (1966 г.) в биографии Фредерика Жолио-Кюри (Серия «Жизнь замечательных людей»): «В те далекие годы, на заре атомного века, первооткрыватели радия не знали о действии излучения. Радиоактивная пыль носилась в их лабораториях. Сами экспериментаторы спокойно брали руками препараты, держали их в кармане, не ведая о смертельной опасности» (с. 266), и далее: «К счетчику Гейгера поднесен листок из блокнота Пьера Кюри (через 55 лет после того, как в блокноте вели записи. — В. В. А.), и ровный гул сменяется шумом, чуть не грохотом. Листок излучает радиоактивность, листок как бы дышит ею, излучение действует

на счетчик, показания счетчика переходят в звук... Фредерику пришло в голову: но если столь сильна радиоактивность листка, то он должен действовать на фотопластинку так, как действовала когда-то ураниовая руда у Беккереля... В полной темноте Фредерик положил листок на несколько минут на фотопластинку, а затем проявил ее... Пластинка почти вся почернела... Радиоактивные следы, невидимые глазом, подействовали на пластинку. Но что это? Среди черных пятен ясно проявился отчетливый след — след пальца, державшего листок пятьдесят пять лет тому назад, пальца, столь часто касавшегося радиоактивного препарата, что даже через полстолетия обнаружился его снимок. Чей это палец? Пьера или Марии?.. В глубоком волнении Фредерик вспоминает изъязвленные, всегда прикрытые пальцы Марии Кюри.

В конце прошлого века большой популярностью пользовалась книга французского историка науки Г. Тиссандье «Мученики науки», русский перевод 1880 года. С полным правом к современным мученикам науки можно отнести Марию Кюри, ее дочь Ирен и зятя Фредерика.

Говоря о духовном облике Марии Кюри, мы не можем вполне удовлетвориться ее служением науке и практике в отрыве от социальных проблем.

Вывавшись из мрачных условий существования поляков под властью царской России, Мария Кюри продолжала считать, что только одно национальное освобождение принесет счастье народу. Она не смогла понять, что помимо национального гнета и порабощения одних народов другими на земле существует еще и гнет капиталистической системы, тормозящей свободное развитие человеческой личности.

Но это понял ее зять — Фредерик Жолио-Кюри. Всей своей жизнью он внес коррективу в узкое понимание роли служителя науки. Он совместил в своем лице выдающегося ученого и прогрессивного деятеля, он понимал, что будущее человечества зависит не только от прогресса науки, но и от ликвидации эксплуатации человека человеком.

Предлагаемая читателям книга написана младшей дочерью Марии Кюри — Евой, писателем, журналистом по профессии. Книга впервые вышла в свет на французском языке в 1937 году и выдержала во Франции свыше ста изданий. Помимо этого, она переведена на двадцать пять языков и в переводах иногда выходила в десяти — двенадцати изданиях.

В 1959 году издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» был выпущен сокращенный перевод этой книги.

В мировой литературе мало жизнеописаний, которые так захватывали бы читателя, как биография Марии Кюри. Образ незабвенной Марии Кюри, истинной героини в борьбе за науку, ученой, преодолевшей огромные трудности и жизненные тяготы, послужит прекрасным примером и для нашей советской молодежи.

Профессор
доктор биологических наук
В. В. Алпатов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МАНЯ

Сегодня воскресенье, в гимназии на Новолипской улице царит тишина. Под каменным фронтоном высечена надпись на русском языке: «Мужская гимназия». Парадный вход закрыт, и вестибюль с его колоннами походит на забытый храм. Жизнь ушла из светлых залов, опустели ряды черных парт, изрезанных перочинными ножами. Извне доносится лишь благовест к вечерне в соседней церкви да временами тарахтенье проехавшей по улице телеги. За чугуниной оградой переднего двора растут четыре кустика сирени, чахлых, запыленных, но теперь они в цвету, и праздный прохожий удивлению оборачивается в сторону двора, откуда так неожиданно пахнуло сладким ароматом. Только конец мая, а уже душно. В Варшаве солнце так же деспотично, как и мороз.

Но что-то нарушает воскресное затишье. В правой крыле гимназии — там, где живет учитель физики и субинспектор Владислав Складовский, — слышны глухие перекаты какой-то таинственной возни. Что-то похожее на удары молотком, но беспорядочные, неритмичные. За стуком следует треск разрушаемой неведомой постройки, приветствуемый детским визгом. Потом опять звуки ударов... И тут же короткие приказы на польском языке:

— Эля! Нет снарядов!

— В башню. Юзеф... Целься в башню!

— Маня, отойди!

— Да я принесла кубики.

— Ого-го-го!

Опять шум разрушения и грохот деревянных кубиков по натертому паркету... Башни — нет. Возгласы усиливаются, опять летят снаряды, во что-то попадают...

Поле битвы — большая квадратная комната с окнами на внутренний двор гимназии. В четырех углах стоят детские кровати. Четверо детей от пяти до девяти лет играют в войну и оглушительно визжат. Дядя, любитель виста и пасьянсов, подарил на рождество младшим Складовским игрушку — «Юный строитель». Он, конечно, не предвидел, какое употребление найдет его подарок. Обнаружив в большом фанерном ящике рисунки — образцы для построек, Юзеф, Броня, Эля, Маня несколько дней послушно сооружали по ним мосты, церкви, замки; но очень скоро все эти строительные блоки, балки нашли себе другое применение: дубовые колонны превратились в пушки, кубики — в снаряды, а сами архитекторы стали полководцами.

Юзеф на животе ползет вперед и методично продвигает свои пушки по направлению к врагу. Даже в пылу борьбы его лицо сохраняет серьезное выражение, подобающее военачальнику. Он самый старший и самый знающий из детей, к тому же единственный мужчина. Вокруг него лишь девочки, одинаково одетые в праздничные платья с плоскими воротничками и темные фартуки.

Надо отдать им справедливость: все девочки — отличные бойцы. Глаза союзницы Юзефа Эли пылают. Эля злится на свои шесть с половиной лет: ей бы хотелось бросать кубики подальше, посильнее; отсюда зависть к восьмилетней Броне, пухленькой, цветущей блондинке с густыми волосами, которые все время разлетаются, когда Броня усиленно жестикулирует и мечется, защищая свои войска, расставленные на полу между двумя окнами.

Малюсенький адъютант в фартучке с оборками возится на стороне Брони, подбирает кубики, скачет галопом между батальонами; он весь увлечен делом, щечки его горят, губы высохли от неистового крика, от радостного смеха.

— Маня!

Застигнутый врасплох ребенок останавливается набегу, выпускает из рук фартучек, и запас кубиков сыплется оттуда на пол.

— Что здесь происходит?

Это вошла в комнату самая старшая из молодых Складовских — Зося. Хотя ей нет еще двенадцати лет, но среди про-

чих малышей она может считаться уже взрослой. У нее мечтательные серые глаза, пепельные волосы зачесаны назад и свободно спадают на плечи.

— Мама говорит, что ты играешь слишком долго.

— Но я нужна Броне... Я подношу ей кубики!

— Мама сказала, чтобы ты шла к ней.

Минуту Маня стоит в нерешительности, потом берет сестру за руку и с достоинством выходит. Четырех лет отроду трудно восвать, поэтому ребенок, выбившись из сил, не так уж неохотно покидает поле битвы. Нежный голос в соседней комнате зовет ее к себе, перебирая ласкательные имена:

— Маня... Манюша... моя Анчупечо...

Ни у кого не было столько уменьшительных имен, как у Марин, самой младшей, общей любимицы в семье. Обычное уменьшительное для нее — «Маня», особо нежное — «Манюша», а «Анчупечо» — шутовское прозвище, данное ей еще в колыбели.

— Моя Анчупечо, какая ты взъерошенная, как ты раскраснелась.

Две тонкие, очень бледные, очень худые руки завязывают растрепанные ленты фартучка, приглаживают короткие выщипанные волосы, открывая упрямое личико. Постепенно ребенок отходит, успокаивается.

* * *

Маня питает к матери безграничную любовь. Ей кажется, что нет на свете существа красивее, добрее и умнее, чем ее мать.

Госпожа Скłodовская происходила из шляхетской семьи, где была старшей дочерью. Отец ее, Феликс Богуский, принадлежал к многочисленному в Польше мелкопоместному дворянству. Собственное имение было слишком бедно, чтобы жить на его доходы, поэтому Богуский волею-неволею служил управляющим имениями у более богатых. Его женитьба носила романтический характер: влюбившись в девушку небогатую, но более знатного происхождения, он ее похитил и, несмотря на сопротивление родителей красавицы, женился на ней тайно. Прошли годы... Соблазнитель стал робким, хилым стариком, а его возлюбленная — сварливой бабкой.

Из шести детей этой семьи будущая Скłodовская была самой уравновешенной и самой развитой. Ни одно свойственное славянкам «своеобразие» не портило ее. В ней не было ни взбалмошности, ни возбужденности, ничего «слишком». Она получила прекрасное образование в варшавской школе на Фрет-

ской улице и, решив посвятить себя преподаванию, стала учительницей в той же школе, а затем и директрисой. В 1860 году учитель Владислав Склодовский сделал ей предложение и приобрел в ее лице отличную жену. У нее нет денег, но есть свое собственное обеспеченное положение, а главное — она хорошего рода, благочестива, деятельна, к тому же музыкантша: играет на рояле и прелестным томным голосом поет современные романсы. В довершение всего она красавица. Фотографический портрет времени ее бракосочетания передает нам красивое лицо, тяжелую прическу из заплетенных кос, чудесно очерченные брови, спокойный взгляд и таинственные серые глаза продолговатого разреза, как у египтянок.

Это, как говорится, хорошая пара. Склодовские тоже принадлежат к мелкой знати, разоренной политическими злоключениями Польши. Колыбель рода — Склоды — представляет скопище ферм в сотне километров к северу от Варшавы. Несколько семейств, происходящих из поместья Склоды и родственных между собой, носят фамилию Склодовских. По распространенному обычаю крупный феодал — владелец известной местности — давал право своим вассалам на его родовой герб.

Единственным занятием этих семейств было земледелие. Но в эпоху смут именина обеднели и распались. Если в XVIII веке предок Владислава Склодовского владел сотнями гектаров и мог жить с удобствами, а его прямые потомки — еще в довольстве, то это уже стало невозможным Юзефу Склодовскому, отцу учителя. Юзеф решил улучшить свое незавидное положение и поддержать честь фамилии, которой гордился. Он пошел по учебной части. После драматических перипетий в связи с польским восстанием и войной мы застаем его в Люблине — на посту директора мужской гимназии. Он стал первым интеллигентом в этой ветви Склодовских.

И семья Богуских, и семья Склодовских имели многочисленное потомство: в первой — семь, во второй — шесть детей. Из них вышли школьные учителя, один поверенный, одна монахиня. Но были фигуры и эксцентричные. Один из братьев госпожи Склодовской — Хенрик Богуский — так и остался неисправным дилетантом в жизни, воображая себя созданным для гениальных и опасных приключений, а беспечный Эдзислав Склодовский — брат учителя гимназии, любитель хорошо пожить и отчаянная голова, менял одну роль на другую: был и студентом в Петербурге, и повстанцем во время Польского восстания, и провансальским поэтом во время своего изгнания и, наконец, по возвращении в отечество устроился нотариусом в провинции, все время пребывая на грани разорения и банкротства.

В обеих семейных линиях живут бок о бок натуры романтические и характеры ровные, спокойные; люди благоразумные и страстующие рыцари.

Родители Марии Кюри относились к числу благоразумных. Отец по примеру своего родителя получил высшее образование в Петербургском университете, затем вернулся в Варшаву и стал преподавать математику и физику. Мать хорошо ведет женский пансион, где учатся девочки из лучших городских семейств. Уже восемь лет живет чета Склодовских во втором этаже дома на Фретской улице. По утрам, когда учитель переступает порог своей квартиры с окнами во двор, где легкие балкончики идут гирляндой от окна к окну, передние комнаты уже гудят от болтовни юных созданий, ожидающих первого урока.

Но в 1868 году Владислав Склодовский получает место преподавателя и субинспектора мужской гимназии на Новолипской улице. Его супруга уже не может одновременно и жить в казенной квартире, полагавшейся мужу по новой его должности, и вести пансион, и в то же время воспитывать пятерых собственных детей. Не без грусти передала Склодовская пансион в другие руки и распростилась с Фретской улицей, где за несколько месяцев до этого события, 7 ноября 1867 года, родилась Мария Кюри — малютка Маня.

* * *

— Ты спишь, Анчупечо?

Приткнувшись на скамеечке у материнских ног, Маня отрицательно качает головой:

— Нет, мама... я ничего.

Склодовская еще раз проводит тонкими пальцами по лбу своей дочурки. Девочка не знала большей материнской ласки, чем это касание родной руки. Насколько помнит себя Маня, мать никогда ее не целовала. Для нее высшее блаженство — те минуты, когда можно притулиться к этой задумчивой женщине и по чуть заметным признакам — одному слову, улыбке, любящему взгляду — чувствовать себя под покровом огромной материнской нежности и бдительной заботы о ее судьбе.

Девочке непонятна жестокая необходимость той сдержанности и самонезависимости, на какую обрекает себя мать. Госпожа Склодовская тяжело больна. Первые признаки чахотки обнаружались при рождении Манюши, и вот уже целый год болезнь явно прогрессирует, несмотря на лечение. Всегда бодрая, тщательно одетая, эта мужественная христианка продолжает вести жизнь заботливой хозяйки и производит обманчивое впечатление вполне здоровой. Но она строго придерживается

двух правил: иметь для своих нужд отдельную посуду и никогда не целовать своих детей. Маленьким Скловским ужасная болезнь матери дает знать о себе очень немногим: отрывистыми звуками сухого кашля из другой комнаты, горестной тенью на лице самого Скловского и коротенькой фразой, добавленной к их молитве перед сном: «Господи, верни здоровье нашей маме».

Еще молодая женщина встает с места и тихо отстраняет от себя прильнувшую к ней дочь.

— Оставь меня одну, Манюша... У меня есть дело.

— А можно остаться у тебя? Мне... мне можно почитать?

— Лучше бы ты пошла в сад. Такая хорошая погода!

Всякий раз, как Маня касается вопроса самостоятельного чтения, чувство какой-то особой робости заливают краской ее лицо.

Прошлым летом Броня, живя в деревне, нашла, что очень скучно учить азбуку в одиночку, тогда она решила «играть в учителницу» с Маней. Несколько недель обе девочки занимались тем, что раскладывали в некоем порядке, часто произвольном, буквы алфавита, вырезанные из картона. И вот, когда однажды утром Броня, записываясь, стала читать родителям по складам какой-то простой текст, Маня не выдержала, взяла книгу у нее из рук и почти бегом прочла первую строчку открытой страницы. Польщенная внимательным молчанием слушателей, она продолжала эту увлекающую ее игру. Но вдруг остановилась в испуге. Взгляд на изумленные лица родителей, взгляд на обидчивую гримасу Броня... сразу какие-то бессвязные, невнятные слова, затем безудержное рыдание... и чудоребенок превратился в четырехлетнюю малютку, которая заливалась горячими слезами, лепеча жалобно и виновато:

— Простите... Простите... Я не нарочно... Я не виновата.... Броня тоже не виновата! Просто это очень легко!

Маня пришла в отчаяние от мысли, а вдруг ее никогда не простят за то, что она выучилась читать без спросу?

После этого знаменательного чтения девочка хорошо усвоила и большие, и маленькие буквы, а если не сделала новых замечательных успехов, то лишь потому, что родители, как опытные и осторожные педагоги, старались не давать ей книг. Они боялись этой скороспелости в их дочери, и стоит Мане протянуть руку к одному из альбомов с крупной печатью, лежавших повсюду в доме, как родительский голос говорит ей: «Ты бы поиграла в кубики... А где твоя кукла?.. Спой мне такую-то песенку». Или, как сегодня. «Лучше бы ты пошла в сад...»

Маня заглядывает на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Грохот рассыпающихся по паркету кубиков и крики, только

слегка приглушенные стенкой между комнатами, убеждают Манию, что там она едва ли найдет себе товарища для прогулки по саду. Не больше надежды и со стороны кухни, откуда долетают звуки непрерывной болтовни и шумной работы у плиты, свидетельствующие о приготовлении ужина.

— Я пойду за Зосей.

— Как хочешь.

— Зося... Зося-а!

Сестры рука об руку пересекают луговину, где они каждый день играют «в салки» или «в жмурки», ндут вдоль здания гимназии и, разворотив деревянную, источенную червем калитку, проникают в сад. От лужаек с хилой травой, стиснутых каменными стенами, все же понахивает землей, деревней...

— Зося, а скоро мы поедем в Зволу?

— Нет, не скоро. Не раньше июля. А ты разве помнишь Зволу?

Благодаря поразительной памяти Маня помнит все: ручей, где прошлым летом она и сестры барахтались целыми часами; «мыло», которое они делали из грязи, пачкая свои юбочки и фартучки, а потом куски этого «мыла» складывали для сушки на доске, известной только им одним... Старую липу, куда взбирались иногда сразу шесть-семь заговорщиков, включая кузенов и друзей, а Манию с ее еще слабыми ручонками и коротенькими ножками втаскивали общими усилиями. Самые толстые сучья устилали холодными ломкими листьями капусты, а в таких же капустных листьях, запрятанных в дуплах, хранились запасы вишен, крыжовника и нежной сырой морковки.

А хутор Марки с его жарким амбаром, где Юзеф учил таблицу умножения, а Манию зарывали в сыпучее жито! А папаша Шиповский, который так весело щелкал кнутом, сидя на козлах брички! А лошади дяди Ксаверия!

Эти дети города имели возможность упорно проводить летние каникулы. Из их разросшегося рода только одна ветвь стала городской, и почти в каждой губернии можно было найти каких-нибудь Складовских или Богуских, которые обрабатывают кусок земли. Хотя их усадьбы не роскошны, но там всегда найдутся комнаты, чтобы приютить на лето учителя гимназии с семейством. Несмотря на скромные условия жизни, Маня еще не знает малозавидного пребывания на «дачах», в которых поселяются жители Варшавы. Летом эта дочь интеллигентов становится или, вернее говоря, вновь превращается силой врожденных, глубоко заложенных склонностей в простую деревенскую девчонку.

— Ну, побежим... Давай на спор — я раньше добегу до конца сада! — весело кричит Зося.

— Мне не хочется бегать. Лучше расскажи мне что-нибудь...

Никто в этой семье, даже сам учитель и его жена не умеет рассказывать так, как Зося. Ее богатое воображение придает житейским происшествиям волшебные, сказочные черты. Кроме того, Зося умеет сочинять маленькие комедии и с увлечением сама же представляет их, восхищая сестер и брата. Этим талантом она подчиняет себе Маию, и, несмотря на то что четырехлетней малютке порой бывает трудно улавливать само развитие сюжета, Маия то заливается неудержимым хохотом, то вся дрожит от фантастических перипетий в рассказе Зоси.

Наконец девочки возвращаются домой. По мере приближения к гимназии Зося идет все медленнее и понижает голос. Создаваемый и тут же передаваемый рассказ далеко еще не кончен, однако Зося внезапно прерывает свое повествование. Поравнявшись с правым крылом гимназического здания, где надо проходить мимо окон, затянутых одинаковыми занавесками из жесткого гипюра, дети сразу замолкают.

Там, за занавешенными окнами, обитает существо, неизвестное и страшное семье Складовских: директор гимназии господин Иванов, представитель царского правительства в этом учебном заведении.

* * *

Жестокая судьба для поляка — быть в 1872 году «русским» подданным и в то же время принадлежать к польской интеллигенции с ее терзаниями, среди которой зреет возмущение, а гнет навязанного рабства чувствуется еще острее, чем в других сословиях.

Как раз сто лет тому назад жадные и грозные соседи ослабшей Польши решили погубить ее. Пруссия, Россия, Австрия расчленили страдальческую Польшу и в три приема поделили между собой свою добычу. Поляки восстали против угнетателей, но все напрасно: оковы, делавшие их узниками, стали еще теснее. После героического восстания 1831 года царь Николай I предписал для «русской» Польши суровые меры наказания. Патриотов сажали в тюрьмы, толпами отправляли в ссылку, а их имущество конфисковывали.

В 1863 году новое восстание, и снова катастрофа. Против царских винтовок повстанцы шли с косами, дубинками и пиками. Полтора года отчаянных боев... И вот на баррикадах Варшавы стоят пять виселиц с телами повешенных вождей восставшей Польши.

Со времени этой драмы пускаются в ход все средства, чтобы подчинить Польшу, которая не хочет умирать. В то время как мятежники, закованные в кандалы, бредут в снежную Сибирь, целая волна руссификаторов — служащих полиции, чиновников, учителей — вливается в страну. Их задача: следить за поведением поляков, преследовать их религию, запрещать крамольные книги и газеты и постепенно отучать от родного языка. Короче говоря, убивать душу целого народа.

В каждом учебном заведении Польши гнездится глубокий антагонизм, который под наигранной любезностью противопоставляет побежденных победителям. Господин Иванов на Новопольской улице в особенности ненавистен. Он безжалостен к польским учителям, обязанным преподавать на русском языке. В своем служебном рвении директор Иванов, хотя и был большим невеждой, лично просматривал сочинения гимназистов, выискивая «полонизмы», которые проскальзывали иногда у мальчиков из младших классов.

Его отношение к Складовскому заметно охладело с того дня, когда субинспектор, защищая одного из учеников, спокойно заявил: «Господин Иванов, если ребенок и допустил ошибку, то, разумеется, по недосмотру. Ведь вам и самому случается, притом довольно часто, делать ошибки в русском языке. Я убежден, что вы, так же как этот ребенок, делаете их не нарочно...»

* * *

Когда Зося с Маней пришли домой из сада и пробирались в отцовский кабинет, госпожа Складовская шила ботинки. Никакой труд она не считала зазорным для себя. С тех пор как материнские заботы и болезнь принудили ее сидеть дома, она выучилась сапожному ремеслу, и благодаря этому ботинки, которые так быстро снашивают дети, обходятся Складовским не дороже стоимости кожи. Жизнь дается нелегко...

— Эта пара — для тебя, Манюша. Увидишь, какие они выйдут миленькие!

Маня смотрит, как материнские руки вырезают подошву и продергивают драгву. Отец сидит в любимом кресле рядом с матерью. Хорошо бы забраться к нему на колени, развязать галстук, тщательно затянутый ровным бантом, покрутить каштановую бородку, завершающую слегка обрюзгшее лицо, на котором играет такая добрая улыбка... Но нет! Уж очень скучный разговор у взрослых! «Иванов... полиция... царь... ссыл-

ка... заговор... Сибирь...» Ежедневно со времени своего появления на свет Маня слышит эти слова. Инстинктивно она сторонится и отдалляет необходимость осознать их.

Ребенок весь уходит в детские мечты и сразу отвлекается от своих родителей, от их дружеской беседы, в которую вторгаются по временам или скрипучий звук ножниц, режущих кожу, или удары молотка, вгоняющего гвоздь. Подняв носик, она ходит туда-сюда по комнате, иногда останавливается, чтобы взглянуть на предметы, особенно ей милые.

Рабочий кабинет отца — самая красивая комната в квартире Складовских, во всяком случае самая интересная для Мани. Большой французский секретер красного дерева и кресла эпохи Реставрации, крытые неизносимым красным бархатом, внушают ей почтение. Все эти вещи такие чистенькие, так блестят! Когда Маниуша подрастет и пойдет в школу, ей отведут место за большим отцовским письменным столом, вокруг которого все дети усаживаются после обеда и готовят уроки к завтрашнему дню. В глубине кабинета на стене висит величественный портрет какого-то епископа в массивной золоченой раме, приписываемый, впрочем только Складовским, кисти Тициана, но Манию он не очень привлекает. Гораздо больше занимают ее часы на бюро — блестящие, пузатые, отделанные ярко-зеленым малахитом, а также столик, привезенный из Палермо в прошлом году ее двоюродным братом: верхняя плоскость столика служит шахматной доской, причем клетки сделаны из разноцветного мрамора с прожилками. На этажерке стоит саксонская чашка с изображением добродушной физиономии Людовика XVIII. Мани тысячу раз твердили, чтобы она даже не прикасалась к этой чашке, поэтому она старательно обходит этажерку и останавливается перед самыми дорогими ей вещами.

Это, во-первых, стенной барометр с позолоченными стрелками на белом циферблате. По определенным дням отец прилежно его чистит и выверяет в присутствии заинтересованных детей.

Во-вторых, витрина, где на полках лежат какие-то удивительные изящные инструменты. Тут и стеклянные трубки, и весы, и образцы минералов, и даже электроскоп с золотым листком. В былое время учитель Складовский носил эти предметы на свои занятия. Но с той поры, когда правительство распорядилось сократить количество уроков, отведенных на точные науки, витрина заперта.

Маня не может представить, для чего нужны все эти так волнующие ее игрушки. Однажды днем, когда она разглядывала их, став на цыпочки, отец сказал ей, что это фи-зи-че-с-ки-е при-бо-ры. Смешное название!

Она запомнила его, так как никогда ничего не забывала, и, бывая в хорошем настроении, повторяла нараспев это потешное название.

ВРЕМЕНА МРАКА

— Мария Склодовская!

— Здесь.

— Расскажи о Станиславе Августе.

— Станислав Август Понятовский был избран польским королем в 1764 году. Это был умный, очень образованный человек, друг артистов и писателей. Он видел недостатки, которые ослабляли королевство, и старался их исправить. К сожалению, он был человеком, лишенным мужества...

Вызванная ученица, мало заметная среди своих подруг, стоит за партой около высокого окна, выходящего на заснеженную лужайку Саксонского сада, и отвечает уверенным, приятным голоском. Форменное платье из темно-синей саржи со стальными пуговицами и накрахмаленным воротником портит своей мешковатостью легкий силуэт десятилетней девочки. Куда девались всегда растрепанные кудри милой Анчупечо? Туго заплетенная коса с узкой ленточкой оттягивает волосы к затылку, за маленькие ушки изящной формы. Такая же коса, но толще и темнее, сменила завывающиеся штопором локоны и у сестры Мани — Эли, сидящей за соседней партой. Самый простой наряд и строгая прическа — такое правило частной школы мадемуазель Сикорской.

Ничего легкомысленного нет и в наряде учительницы, сидящей за кафедрой. Ее черный шелковый корсаж на китовом усе никогда не был в моде, да и сама учительница, мадемуазель Антонина Тупальская, не могла бы претендовать на красоту при своем тяжелом, грубом, не красивом, хотя и симпатичном лице.

Мадемуазель Тупальская, прозванная «Тупчей», преподает историю и арифметику. Она же классная дама; в этой должности ей иногда приходится быть строгой, чтобы преодолеть дух независимости и упрямство младшей Склодовской...

Тем не менее, когда она смотрит на Манию, в ее взгляде чувствуется много теплоты. Да и как не гордиться блестящей ученицей, которая на два года моложе своих одноклассниц, но всегда первая по арифметике, истории, литературе, по немецкому и французскому, по катехизису!

В классе тишина, даже больше чем тишина. Уроки истории создают атмосферу страстного горения. В глазах двадцати юных патриотов, на лице Тупчи светится восторженность. Рас-

сказывая о давно умершем государе, Маня с особенной запальчивостью утверждает:

«К сожалению, он был человеком, лишенным мужества...» И эта невзрачная наставница, и эти умненькие дети, которым она преподает польскую историю на родном языке, приобретают таинственный вид сообщников и заговорщиков.

Вдруг все вздрагивают, действительно, как заговорщики: на лестничной площадке тихо застрекотал электрический звонок. Два звонка длинных, два коротких.

Этот сигнал мгновенно приводит все в бурное, но молчаливое движение. Вскочив с места, Тупча наспех собирает разбросанные книги. Быстрые руки учениц сгребают польские тетради и учебники, запихивают их в фартуки самых проворных школьниц, а те, нагруженные запретным грузом, исчезают за дверью, которая ведет в спальню пансионеров. Бесшумно передвигаются стулья, осторожно закрываются крышки парт. Дверь широко открывается. На пороге классной комнаты появляется затянутый в красивую форму — синий с блестящими пуговицами сюртук и желтые штаны — господин Хорнберг, инспектор частных пансионов Варшавы: тучный человек, острижен по-немецки, лицо пухлое, с пронзительным взглядом сквозь очки в золотой оправе. Он молча всматривается в учениц. Рядом с ним стоит, с виду безучастная, директриса пансиона мадемуазель Сикорская и тоже смотрит... но с какой затаенной тревогой! Сегодня оказалось так мало времени для подготовки. Швейцар едва успел дать условный звонок, как Хорнберг поднялся на площадку и вошел в класс. Боже мой, все ли в порядке?

Все в порядке. Двадцать девочек с наперстками на пальцах склонились над работой и вышивают букетики по квадратикам канвы. На партах только ножницы и катушки ниток. Тупча с красивым от волнения лицом подчеркнуто кладет на кафедру книгу, напечатанную русским шрифтом.

— Два раза в неделю по одному часу дети учатся рукоделию, — деловито поясняет директриса.

Хорнберг подходит к учительнице.

— Вы им читали вслух. Какую книгу, мадемуазель?

— Басин Крылова. Мы начали только сегодня, — совершенно спокойно отвечает Тупча. Ее щеки начинают приобретать нормальную окраску. Хорнберг небрежным жестом поднимает крышку ближайшей парты. Ни одной книги. Ни одной тетради.

Старательно закрепив стежки и воткнув иглу в материю, дети прерывают свое занятие. Они сидят, скрестив руки, неподвижно, совершенно одинаковые в своих темных платьях с белыми воротничками. Все двадцать детских лиц как-то сразу постарели и замкнулись, скрывая страх, ненависть и хитрость.

Господни Хориберг сел на стул, подвинутый ему Тупальской.

— Будьте любезны вызвать какую-нибудь из ваших юных учениц.

Сидящая в третьем ряду Мария Складовская инстинктивно поворачивается напряженным личиком к окну. Про себя она возносит к небу тайную мольбу: «Господи, сделай так, чтобы не меня! Только не меня!.. Только не меня!..»

Но она знает, что вызовут ее. Ее вызывают почти всегда, так как она самая знающая и хорошо говорит по-русски.

Услышав свою фамилию, девочка встает. Ее бросает в жар и в холод. Ужасное смущение сжимает ей гортань.

— Молитву, — произносит Хориберг с выражением безразличия и скуки.

Равнодушным голосом Маня читает «Отче наш». Одним из самых унизительных мероприятий царского правительства являлось требование, чтобы польские дети каждый день читали свои католические молитвы, но обязательно на русском языке.

Под видом уважения к религиозным верованиям поляков царь этой мерой заставлял их же самих оскорблять то, что было для них свяще́нством.

Опять наступает тишина.

— Какие цари царствовали на нашей святой Руси со времен Екатерины Второй?

— Екатерина Вторая, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй....

Инспектор доволен. У девочки хорошая память. А какое отличное произношение, точно она родилась в Петербурге.

— Перечисли состав и титулы императорской фамилии.

— Ее величество императрица, Его высочество цесаревич Александр, Его высочество великий князь...

По окончании длинного перечисления Хориберг улыбулся. Очень хорошо, даже отлично! Этот человек не видит или не хочет видеть, как встревожена ученица, как напряглось ее лицо от усилия скрыть чувство возмущения.

— Какой титул принадлежит царю в ряду почетных званий?

— «Величество».

— А мой?

— «Высокородие».

Инспектор с удовольствием разбирается в этих иерархических оттенках, видимо, полагая их более важными, чем арифметика или грамматика. Наконец, уже просто для забавы, он спрашивает:

— А кто нами управляет?

Чтобы скрыть вспыхнувшие негодованием глаза, директриса и надзирательница старательно просматривают списки учениц. Не получив немедленного ответа, раздраженный инспектор повторяет свой вопрос:

— Кто нами управляет?

— Его величество Александр Второй, царь всея Руси, — с усилием отчеканивает Маня, вся побледнев.

Инспекторский смотр окончен. Царский чиновник встает со стула и, благосклонно кивнув головой, направляется в соседний класс. За ним следует директриса.

Тупча поднимает голову и говорит:

— Душенька моя, поди ко мне...

Маня подходит к учительнице; Тупча, не говоря ни слова, целует ее в лоб. Весь класс сразу оживляется, а польская девочка, измученная нервным напряжением, не выдерживает и заливается слезами.

* * *

— Был инспектор! Был инспектор! — возбуждению сообщают школьницы своим матерям и няням, ожидающим их у выхода. Закутанные, сразу потолстевшие от тяжелых шуб, девочки в сопровождении взрослых расходятся группами по тротуару, запорошенному первым снегом. Разговор ведется вполголоса: каждый бесцельно гуляющий прохожий, каждый глазающий на витрину магазина может оказаться осведомителем полиции.

Эля оживленно рассказывает тетке Михайловской — тете Люце, пришедшей за племянницами, о том, что произошло сегодня в пансионе:

— Хориберг спрашивал Маню... Она отвечала очень хорошо... Потом она расплакалась... Кажется, инспектор не сделал замечаний ни в одном классе...

Говорливая Эля болтает то шепотом, то громко. Маня молча шагает рядом с тетей. Прошло несколько часов со времени ее допроса, но девочка все еще взволнованна. Ей ненавистны эти внезапные панические страхи, эти унижительные вызовы, когда приходится все время только лгать и лгать...

После сегодняшнего посещения инспектора Маня как-то особенно тяжело чувствует всю грустную сторону своего существования. Не вспоминается ли ей бывшее время, когда она была ребенком без горя, без тревог? Несчастья, одно за другим, обрушились на семью Складовских, и последние четыре года казались Мане каким-то тяжелым сном.

За эти годы ее мать побывала вместе с Зосей в Ницце. Тогда Мане сказали, что «мама после лечения вернется совсем

здоровой». Спустя год ребенок вновь увидел свою мать, но едва мог узнать ее в постаревшей, обреченной женщине...

День возвращения после летних каникул 1873 года оказался драматичным. Приехав со всем семейством на Новолипскую улицу к началу гимназических занятий, Скловский нашел у себя на письменном столе казенный пакет: по распоряжению властей он лишился места субинспектора, а тем самым казенной квартиры и дополнительного жалованья. Это опала. Директор гимназии Иванов жестоко отомстил недостаточно раболепному чиновнику.

После нескольких переездов с квартиры на квартиру Скловские обосновались в доме на перекрестке Новолипской и Кармслитской улиц в угловой квартире. Семья все больше и больше испытывала материальный недостаток. Преподаватель берет к себе двух-трех пансионеров, затем пять, восемь, наконец — десять. Всем этим мальчикам, набранным среди своих учеников, он даст квартиру, питание и частные уроки. В квартире стало шумно; пришел конец семейному уюту.

К сожалению, необходимость такой меры вызывалась не только потерей места субинспектора, не только денежными затруднениями, связанными с пребыванием его жены на солнечной Ривьере. Вовлеченный своим злосчастным шурином в авантюрное предприятие — товарищество по эксплуатации «чудесной» паровой мельницы, — Скловский, вообще говоря, человек предусмотрительный, на этот раз потерял, и очень быстро, все накопленные деньги — тридцать тысяч рублей. С тех пор его терзают сожаления, тревожит будущее, он сокрушается и от чрезмерной щепетильности все время винит себя за то, что обездолил семью, а дочерей лишил приданого...

За два года до этого несчастья, в январе 1876 года, Маня уже узнала, что такое горе. Один из пансионеров, заболев тифом, заразил Броню и Зосю. Страшные недели! В одной комнате чахоточная мать старается сдержать свой кашель, в соседней — две сестры стонут и дрожат от сильного озноба.

Это случилось в среду. Скловский зашел за Элей, Юзефом и Маней и повел их к старшей сестре. Зося покоилась в гробу, вся в белом, со скрещенными на груди руками. Бескровное лицо как будто улыбалось и, несмотря на гладко остриженную голову, было удивительно красиво.

Маня впервые встречается со смертью, впервые идет в траурной процессии, одетая в мрачную черную накидку. Дома остались рыдающая Броня, которая должна еще лежать в постели, и мать, которая не в силах выйти из дому, перебираясь от окна к окну, следит за медленно удаляющимся гробом дочери.

— Пойдемте, мои милые, не прямо, а в обход. Мне надо за-
пасться яблоками, пока еще не ударили морозы.

Красивая, душевная тетя Люция скорым шагом ведет своих
племянниц через Саксонский сад, почти безлюдный в ноябрь-
ский полдень. Она пользуется каждым предлогом, чтобы де-
вочки побольше дышали чистым воздухом и находились подаль-
ше от квартиры, где умирает чахоточная мать. А вдруг дево-
чки заразятся от нее! У Эли вид еще хороший, а Маня уж очень
бледновата, да и вся какая-то понурая...

Пройдя сад, вся троица попадает в гот квартал, где роди-
лась Маня. Здесь, в Старом Място, улицы гораздо заинтере-
снее, чем в новом городе. На скатах высоких крыш лежит пуши-
стый свежий снег, а серые фасады небольших домов привлека-
ют глаз многообразием рельефного орнамента: тут и изображе-
ния святых, и всякие каринзы, а среди них — силуэты живот-
ных, играющих роль вывесок для разных лавочек, гостиниц и
трактиров.

В морозном воздухе звонко перекликаются церковные ко-
локола. А сами церкви напоминают о детстве Мани. Вот костел
святой Марии, где крестили Маню, а вон храм доминиканского
монастыря, где Маня впервые причащалась, — день, памятный
клятвой Мани и двоюродной сестре Хенрике, давших обет
проглотить священную облатку, не прикасаясь к ней зубами.
А вон и костел святого Павла, куда ходили девочки по воскре-
сеньям слушать проповедь на немецком языке.

Да и пустая, подвластная ветрам площадь в Новом Мя-
сто хорошо знакома Мани. Семья Складовских жила на ней це-
лый год после выезда из гимназической квартиры. Каждый день
утром Маня, ее мать и сестры ходили в часовню божьей мате-
ри, в это причудливое и очаровательное здание с квадратной
башней, сложенное уступами из красноватого, источенного ве-
ками камня, с косыми контрфорсами, цеплявшимися за верх-
ний гребень, который высится над Вислой.

Тетя Люция делает знак девочкам, предлагая зайти в зна-
кому часовню. Маня проходит за толстую готическую дверь
и, сделав несколько шагов в сумрачную глубь часовни, с тре-
петом опускается на колени. Как горько прийти теперь сюда
без Зоси, уже не существующей на свете, и без матери, не-
излечимо больной и, видимо, забытой божьим милосердием.

Но, веря в бога, Маня возносит свою мольбу к его пре-
столу. В отчаянии за мать она горячо просит Иисуса даровать
жизнь существу, самому дорожному ей на свете, а взамен этой

жизни предлагает богу свою жизнь: чтобы спасти мать, она готова умереть.

Преклонив колена рядом с Маней, шепчут молитвы Эля и тетя Люця.

Все трое выходят из часовни и по сбитым ступенькам лестницы спускаются к реке. Широкая мощная Висла неприветлива и недовольна. Своими желтыми струями она обходит песчаные косы, залегшие палевыми островками среди водоворотов, и бьет в извилистые берега, уставленные купальнями и портомойнями. Серые прогулочные лодки, летом оживленные компаниями веселой молодежи, теперь стоят у берега без снасти, неподвижно. Глубокой осенью жизнь кипит только у галер с яблоками. Сейчас их две — длинные, большие, остроносые расшивы сидят в воде, погрузившись чуть не до края борта.

Хозяин, в бараньем полушубке, откидывает охапками солому, чтобы показать товар. Красные, крепкие, точно отполированные, яблоки особенно бросаются в глаза на мягкой соломённой подстилке, предохраняющей их от мороза. Тысячи яблок навалены повсюду — от носа до кормы. Они пришли из Казмежа, красивого городка на Верхней Висле, и плыли день за днем вниз по течению сюда, в Варшаву.

— Я хочу сама выбирать яблоки... Сама! — кричит Эля, откладывая муфточку и сбрасывая одним движением плеча свой школьный ранец; тотчас же ее примеру следует и Маня.

Для девочек нет ничего веселее этих яблочных походов. Яблоки перебирают по одному, рассматривают каждое со всех сторон и после этого кладут в корзину, плетеную из ивняка. Если попадаются гнилые, то, хорошенько размахнувшись, их швыряют в Вислу и смотрят, как тонут эти красивые шары. Наполнив доверху корзину, выходят на берег, держа в руке яблоко, самое красивое из всех...

Оно холодное и на зубах хрустит; как восхитительно откусывать кусочек за кусочком, пока там тетя Люця торгуется с хозяином и выбирает среди обступивших ее мальчишек с запачканными лицами того, кто, по ее мнению, достоин отнести к ней на дом корзину с драгоценным грузом.

* * *

Пять часов пополудни. Горничные убрали стол после обеда и зажгли висячую керосиновую лампу. Время занятий. Паисиомеры разбрелись по своим комнатам, где живут по двое и по трое. Сын и дочери учителя остались в столовой, превращенной в комнату для занятий, раскрыли тетрадки и книги.

Через несколько минут в комнате раздастся бормотание, невнятный, назойливый, нудный гул; он так и остается на целые годы лейтмотивом всей жизни в этом доме.

Его виновниками являются ученики, которые не могут отказаться от привычки вслух заучивать латинские стихи, исторические даты или решать задачи. В каждом углу этой фабрики познаний вздыхают, охают, страдают. Как все трудно! Сколько раз приходилось учителю Складовскому ободрять ученика, который впадал в отчаяние из-за того, что, хорошо поняв изложенное на родном польском языке, не мог при всех стараниях усвоить то же самое, и особенно передать на обязательном русском языке.

Маленькая Маня не знает подобных огорчений. Исключительная сила ее памяти казалась подозрительной, и, когда девочка на глазах у всех прочитывала стихотворение два раза и тут же произносила наизусть без единой ошибки, товарищи обвиняли ее в жульничестве, говоря, что она выучила его раньше, потихоньку от всех. Свои уроки она готовит значительно быстрее других учеников, а затем по врожденной готовности помочь нередко выручает какую-нибудь из подруг, зашедшую в тупик.

Но чаще всего, как было и в этот вечер, Маня берет книгу и устраивается за столом, оперев лоб на облокоченные руки и заткнув уши большими пальцами, чтобы не слышать бормотание своей соседки Эли, не способной заучивать уроки иначе, как вслух. Излишняя предосторожность, так как через минуту Маня, увлеченная чтением, уже не слышит и не видит того, что происходит в комнате.

Такая способность к полному самозабвению — единственная странность у этого вполне здорового, нормального ребенка — необычайно забавляет Маниных подруг и сестер. Броня и Эля в сообществе с пансионерами уже не раз устраивали в комнате невыносимый гвалт, чтобы отвлечь младшую сестру, но их старания напрасны: Маня сидит как зачарованная, даже не поднимая глаз.

Сегодня им хотелось бы придумать что-нибудь похитрее, так как пришла дочь тети Люци — Хенрике, и это обстоятельство раззадоривает в них демона злых козлий. На дыпочках они подходят к Мане и громоздят вокруг нее целое сооружение из стульев. Два стула — по бокам, один — сзади, на них два, а сверху ставят еще стул, как завершение постройки. Затем все молча удаляются и делают вид, что заняты уроками. Они ждут. Ждут долго — Маня не замечает ничего. Ни шепота, ни приглушенного смеха, ни тени от стульев. Проходит полчаса, а Маня все еще сидит, не подозревая об опасности от шаткой пи-

рамиды. Кончив главу, она закрывает книгу и поднимает голову. Все рушится со страшным грохотом. Стулья опрокидываются на пол. Эля визжит от удовольствия, Броня и Хенрике отбегают в сторону, боясь контратаки.

Но Маня по-прежнему невозмутима. Не в ее характере сердиться, но вместе с тем она не может забавляться так напугавшей ее шуткой. Взгляд ее пепельно-серых глаз сохраняет выражение застывшего испуга, как у лунатика, внезапно пробужденного от призрачного сна. Она потирает плечо, ушибленное стулом, берет книгу и уходит в другую комнату. Проходя мимо «старших», она роняет одно слово: «Глупо!» Этот спокойный приговор очень мало удовлетворяет «старших».

Часы такого полного самозабвения — единственное время, когда Маня живет чудесной жизнью детства. Она читает вперемежку школьные учебники, стихи, приключенческую литературу, а наряду с ними — технические книги, взятые из библиотеки отца.

В эти короткие часы отходят от нее все мрачные видения ее жизни: усталый вид отца, подавленного мелкими заботами; вечная суматоха в доме; вставание в предрассветном мраке, когда ей, еще полусонной, надо вскочить с постели, сползающей со скользкого дивана, и быстро освободить этот злосчастный малескиновый диван, чтобы пансионеры могли позавтракать в столовой, которая служила спальней для младших Скловских.

Но передышки эти мимолетны. Стоит очнуться, и все опять всплывает с прежней силой; в первую очередь щемящая тревога за состояние матери, ставшей лишь слабой тенью бывлой красавицы.

Как ни стараются ободрить Маню, она душою чувствует, что ни силою ее восторженного преклонения, ни силою большой любви и пламенных молитв не отворотить ужасного и близкого конца.

* * *

И сама Скловская думает о роковом конце. Ей хочется, чтобы смерть не захватила ее врасплох, не перевернула всю жизнь ее семьи. 9 мая 1878 года приходит к ней не доктор, а священник. Только ему поведаёт она свои душевные страдания, свою скорбь о милом муже, которому оставит бремя всех забот о четырех детях, свои мучительные думы о будущем совсем юных и остающихся без матери детей, и среди них — Манюши, которой только десять лет.

Но перед членами семьи она всем своим поведением старается показать умиротворение, которое в последние часы ее жизни приобрело какую-то особенную прелесть.

И умирает она так, как ей хотелось, без бреда, без метания. В чистой комнате стоят вокруг ее кровати муж, дочери и сын. Ее серые удлиненные глаза, уже подернутые предсмертной дымкой, пристально вглядываются в осунувшиеся лица близких, как будто умирающая хочет испросить себе прощение за то, что причиняет им такое горе.

Она еще находит силы проститься с каждым. Но все больше и больше ее одолевает слабость. Последняя мерцающая искра жизни позволяет ей сделать только одно движение, сказать только одно слово.

Движение — это крестное знамение, которое она чертит в воздухе дрожащею рукой, благословляя своих детей и мужа.

Слово — последнее, прощальное с детьми и с мужем, чуть слышное:

— Люблю.

* * *

И снова в трауре Маня уныло бродит по квартире на Кармелитской улице. Она не может примириться с тем, что Броня занимает комнату умершей матери, что только Эля и она спят на малескиновом диване, что спешно нанятая экономка приходит ежедневно в дом, распоряжается прислугой, составляет меню для пансионеров и мало заботится о туалете девочек. Сам Складовский отдает все свободное время своим сиротам. Его мужские заботы, конечно, трогательны, но неловки.

Еще ребенком Маня познала жестокость самой жизни, жестокой и к народам, и к отдельным людям. Умерла Зося, умерла и мать. Нет больше ни чудесной ласки нежной матери, ни благотельной опеки Зоси, но Маня все-таки растет, ни на что не жалуясь, предоставленная самой себе.

Она горда, а не смиренна. Теперь склоняясь на колени, в той же церкви, куда ее водила мать, Маня чувствует, как поднимается в душе глухой протест. И молится она не с прежней любовью к богу, который так несправедливо нанес ей эти страшные удары и погубил вокруг нее всю радость, нежность и мечты.

В истории каждой семьи можно найти период наибольшего ее расцвета. В силу каких-то таинственных причин одно из поколений вдруг выделяется среди последующих и предыдущих своим успехами, энергией, красотой, дарованиями.

Такой период пришелся на это поколение Складовских, хотя и заплатившее совсем недавно дань несчастью. Смерть, унесшая Зосю, уже взяла свою дань с пяти жаждущих знаний, умственно развитых детей. Но в четырех остальных, рожденных от чахоточной матери и надорванного трудом отца, заключалась неодолимая жизненная сила. Всем четверым суждено было победить враждебные им силы, смести препятствия и стать выдающимися людьми.

Как они прекрасны в это солнечное утро весною 1882 года, когда все четверо сидят за раним завтраком в столовой! Вот Эля, ей уже шестнадцать лет, высокая, изящная, бесспорно самая хорошенькая в семье. Вот Броня с расцветшим, как цветок, лицом и золотистыми волосами. Вот самый старший — Юзеф, в студенческой тужурке на атлетической фигуре.

А Маня? Так и у Мани отличный вид! Надо признать, что она распустила, и обтягивающее ее форменное платье не обрисовывает особо тонкой талии. Как самая младшая, она пока менее красива. Но, так же как и у сестер, у нее приятное живое лицо, ясные глаза, светлые волосы и нежная кожа.

Только на двух младших сестрах форменные платья: синее у Эли — ученицы пансиона Сикорской и коричневое у Мани — лучшей ученицы казенной гимназии. Прошлой весной Броня окончила эту же гимназию с золотой, вполне заслуженной медалью.

Броня уже не школьница, а барышня. Она взяла в свои руки бразды правления хозяйством, заменив несносных экономок. Она ведет счета, наблюдает за «вечными» пенсионерами, такими же, как прежде, только с другими лицами и именами, и как взрослая носит высокую прическу, платья до полу с «хвостом», туриюром и множеством каких-то пуговок.

Золотой медали был удостоен после окончания гимназии и Юзеф, поступивший на медицинский факультет. Сестры гордятся братом и вместе с тем завидуют ему. Все три томятся каждой высшего образования и потому заранее клают устав Варшавского университета, куда не допускают женщин. Но жадно слушают рассказы брата об этом хотя и имперском, но весьма посредственном университете.

Их оживленный разговор несколько не препятствует еде. Хлеб, масло, сливки и варенье — все исчезает как по волшебству.

— Юзеф, сегодня урок танцев, и ты нужен в роли кавалера, — говорит Эля, не забывающая серьезных дел. — Броня, как ты думаешь, если разглядеть мое платье, оно еще сойдет?

— Так как другого нет, следовательно, оно должно сойти, — философски замечает Броня. — Когда ты вернешься к трем часам, мы им займемся.

— У вас очень красивые платья! — убежденно говорит Маня.

— В этом ты еще ничего не понимаешь. Слишком мала! Все расходятся. Броня убирает со стола. Юзеф, сунув тетрадь под мышку, исчезает. Эля и Маня, толкаясь, бегут в кухню.

— Мой бутерброд!.. Мои сардельки!.. Где же масло? Несмотря на сытный завтрак, девочки продолжают заботиться о потребностях желудка. Они пихают в свои парусиновые сумки все, что будут кушать в гимназии, когда в одиннадцатый час наступит большая перемена: булочку, два кусочка польской, очень вкусной колбасы, сардельки и большое яблоко...

Маня застегивает набитую битком сумку и надевает ранец.

— Скорей! Скорей! А то опоздаешь! — посмеивается Эля, тоже собираясь уходить.

— Не опоздаю! Еще только половина девятого. До свидания!

На лестнице Маня обгоняет двух пансионеров своего отца. Они, не очень торопясь, тоже идут в гимназию.

Гимназии, пансионы, школы... Вся юность Марии Складовской прошла под звуки этих слов. Отец преподает в гимназии, Броня окончила гимназию, Юзеф — в университете, Эля — в пансионе. Да и собственная их квартира что-то вроде школы! Сама Вселенная должна бы представляться Мане как огромная гимназия, где живут преподаватели с учениками и господствует единый идеал: знание!

Пансионеры стали меньшим бедствием с тех пор, как семейство Складовских рассталось с Кармелитской улицей и обосновалось на улице Лешно. Сам дом очарователен: стильный фасад, тихий двор с воркующими голубями, балконы, сплошь затянутые диким виноградом; квартира — на втором этаже и столь велика, что Складовские занимают четыре комнаты, отделенные от комнат для пансионеров.

Улица Лешно с ее широкой мостовой между двумя рядами зажиточных домов вполне отвечает «хорошему тону». Иными

словами, в ней нет славянской «живописности». Этот почти изысканный квартал напоминает Западную Европу многим: начиная с кальвинистской церкви, как раз напротив дома Скловских, и кончая зданием во французском стиле с колоннами на Романской улице.

Закинув ранец за спину, Маня бежит к «Голубому дворцу» графов Замоиских. Минув парадный вход, она идет в старинный двор, охраняемый большим бронзовым львом. Здесь девочка останавливается в полном разочаровании: двор пуст — никого нет! Чей-то приветливый голос окликает Маню.

— Не убегай, Манюша... Казя сейчас выйдет!

— Благодарю вас, пани. Добрый день, пани!

Из окна на антресолях выглядывает жена библиотекаря Замоиских, пани Прижборовская, и дружески улыбается младшей Скловской, маленькой круглощекой девочке с живыми глазками, в последние два года самой близкой подруге дочери Прижборовской.

— Непременно заходи после полудня. Я приготовлю вам шоколад-глассе, как ты любишь!

— Конечно, приходи к нам завтракать! — кричит Казя, скатываясь с лестницы и хватая за руку Манюшу. — Бежим, Маня, а то мы опоздаем!

— Сейчас, только подниму кольцо у льва!

Маня заходит каждый день за Казей, и Казя ждет ее у входа в дом. Если Маня не застает ее на месте, она поворачивает тяжелое бронзовое кольцо в пасти льва и откидывает его на львиный нос, а затем идет своей дорогой к гимназии. По положению кольца Казя видит, что Маня уже заходила, и если Казя хочет ее догнать, то пусть идет скорее.

Казя — очаровательное существо. Это веселая, счастливая горожаночка, балованная любимица своих родителей. Муж и жена Прижборовские балуют и Маню, обращаются с ней как с дочерью, чтобы девочка не чувствовала себя сиротой. Но целый ряд мелких признаков и в их одежде, и в наружности говорит о том, что одна из них — ухоженный ребенок, что каждое утро мать старательно расчесывает ей волосы и сама завязывает ленточки, а другая, четырнадцать с половиной лет, — растет в семье, где никому нет времени заняться ею.

Взявшись за руки, девочки шествуют по узкой Жабьей улице. Со вчерашнего завтрака они не виделись, и, конечно, им нужно рассказать друг другу о множестве важных вещей, касающихся почти всецело их гимназии в Краковском предместье.

Переход из пансиона Сикорской, по духу совершенно польского, в казенную гимназию, где властвует дух руссификации, — переход тяжелый, но необходимый: только казенные

имперские гимназии дают официальные аттестаты. Маня и Казя мстят за это принуждение всякими насмешками над гимназическими учителями, в особенности над ненавистной классной дамой мадемуазель Мейер.

Эта маленькая брюнетка с жирными волосами, в шпионских неслышных мягких туфлях — отъявленный враг Мани Скловской. Она все время укоряет девочку за упрямый характер и за презрительную усмешку, которой Маня отвечает на оскорбительные замечания.

— Говорить со Скловской совершенно бесполезно, ей все как об стенку горох!... — жалуется это тупое существо.

Больше всего раздражают ее в Мане кудри на голове, что, по мнению надзирательницы, «смешно и непристойно», и каждый раз она приглаживает головной щеткой непокорные кудряшки, пытаясь сделать из Мани прилизанную Гретхен. Тщето! Уже через несколько минут легкие, капризно вьющиеся локоны вновь обрамляют лицо девочки, а глаза Мани весьма невинно, но торжествующе, с особенным вниманием останавливаются на волосах надзирательницы, уложенных двумя блестящими банто.

— Я запрещаю тебе смотреть на меня так... свысока! — захлебываясь от злости, кричит Мейер.

— А я не могу иначе! — дерзко отвечает Маня, рост которой гораздо выше.

Изю дня в день продолжается война между крайне независимой ученицей и раздраженной надзирательницей. В прошлом году она разразилась страшной бурей. Пробравшись незаметно в класс, мадемуазель Мейер застала Манию и Казю в ту минуту, когда обе девочки весело танцевали между партами по случаю убийства Александра II, внезапная смерть которого повергла в траур всю империю...

Одним из самых прискорбных следствий всякого политического гнета является развитие жестокости среди угнетенных. Маней и Казей владеют злопамятные мстительные чувства, совершенно неизвестные свободным людям. В обеих девочках — по природе великодушных, нежных — живет еще другая, особая мораль, в силу которой ненависть считается добродетелью, а повиновение — подлостью.

Под действием этих чувств все ученицы страстно набрасываются на то, что им позволено любить. Они обожают красивого молодого Гласса, преподающего им математику; Словарского, преподавателя естественной истории: оба поляки, следовательно, сообщники. Но и по отношению к русским их чувства имеют различные оттенки. Например, что надо думать о танцственном Микешине, который, награждая за успехи одну из учениц, молча протянул ей том стихотворений революционного

поэта Некрасова? Польские школьницы с изумлением замечают и во враждебном лагере признаки сочувствия.

В том классе, где училась Маня, сидели бок о бок и поляки, и евреи, и русские, и немцы. Среди них не было серьезных разногласий. Сама их юность, соревнование в учении сглаживали различные национальные особенности и мысли. Глядя на их старания помочь друг другу в занятиях, на совместные игры во время перемен, можно подумать, что между ними царит полное взаимопонимание.

Но, выйдя из гимназии на улицу, каждая группа говорит только на своем языке, исповедует свой патриотизм и религию. В качестве угнетенных поляки ведут себя более вызывающе, чем остальные, — они уходят сплоченными группами и никогда не приглашают к обеду ни одну немку или русскую.

Эта непримиримость не дается даром, без душевной смуты. Сколько нервного напряжения, преувеличенных укоров совести! Все кажется преступным: и дружеское влечение к товарищу другой национальности, и невольное чувство удовольствия от уроков точных наук или философии, проводимых «угнетателями» — представителями «казенного» преподавания, ненавистного из принципа.

И все же прошлым летом в одном из писем Казе Маня признается стыдливо и волнуяще:

«Знаешь, Казя... я все-таки люблю гимназию. Может быть, ты посмеешься надо мной, но, несмотря на это, я говорю тебе, что я ее люблю, и даже очень. Теперь я это сознаю. Только не думай, что я по ней скучаю! О, совсем нет! Но мысль, что скоро я вернусь туда, меня не огорчает, и те два года, которые еще осталось провести в гимназии, уже не представляются такими страшными, тяжелыми и длинными, как это мне казалось раньше».

* * *

Парк в Лазенках, где Маня проводит большую часть свободного времени, а затем Саксонский сад — самые любимые места Мани в родном городе, который она еще долго будет называть «моя любимница Варшавочка».

Минував чугуниную ограду, Казя и Маня идут по аллее в направлении дворца. Уже два месяца они соблюдают неизменный ритуал — бродить по большому грязным лужам, погружая свои калоши как раз до края, но так, чтобы не замочить ботинок. Когда бывает сухо, они придумывают другие игры, весьма

несложные, но веселящие девочек до слез. Например, игра в «зеленое».

— Пойдем со мной, мне надо купить новую тетрадку, — начинает Маня невинным тоном. — Я видела очень миленькие, в зеленой обложке.

Но Казя настороже! При слове «зеленый» она тотчас показывает Мане кусочек зеленого бархата, спрятанный для этого в кармане, и таким образом увертывается от фанта. Маня делает вид, что бросила игру. Она переводит разговор на вчерашний урок истории, продиктованный учителем, где говорилось, что Польша — русская провинция, польский язык — наречие, что царь Николай I, так любивший Польшу, умер от горя, удрученный неблагодарностью поляков.

— Что там ни говори, а бедняге было трудно рассказывать нам все эти гадости. Ты заметила, как бегали его глаза, какое было у него ужасное лицо?

— Да, оно стало совсем «зеленым», — подыгрывает Казя. Но тотчас у нее под носом завертелся нежно-зеленый молодой листок, сорванный с каштана.

Глядя на кучки малышей, на то, как они делают пирожки из желтого песка или гоняют свое серсо, обе шалуны задыхаются от смеха. Они проходят под великолепной колоннадой и пересекают большую площадь перед Саксонским дворцом. Маня вскрикивает:

— Ах! Мы ведь прошли памятник! Сейчас же идем обратно!

Казя не возражает. Ветреницы допустили непростительную оплошность. Посреди Саксонской площади стоит величественный обелиск с четырьмя львами по сторонам с надписью церковнославянскими буквами: «Полякам, верным своему монарху». Этот обелиск, воздвигнутый царем в честь предателей, презируют все польские патриоты, и, по установившемуся обычаю, надо плюнуть всякий раз, когда проходишь мимо обелиска.

Выполнив свой долг, девочки продолжают разговор.

— Сегодня у нас вечер танцев, — говорит Маня.

— Да... Ах, Манюша, когда же и мы с тобой получим право танцевать! Ведь мы так хорошо танцуем вальс! — жалуется нетерпеливая Казя.

Когда? Да не раньше того, как эти школьницы «высудят в свет». Пройдут еще долгие месяцы, прежде чем они кончат гимназию, ту самую, что помещается вот в этом голом трехэтажном доме, как раз напротив часовни благовещения, сплошь изукрашенной орнаментом и похожей на одинокий островок итальянского Возрождения среди суровых зданий квартала. Некоторые из их товаров уже у главного входа. Тут и маленькая Вульф с голубыми глазками, и Аня Роттерт — немочка со

вздериутым носиком, лучшая после Маии ученица в классе, и Леонида Куницкая...

Но что с Куницкой? Глаза распухли от слез, да и сама она, всегда такая чистенькая и аккуратная, сегодня одета кое-как. Маия и Казя перестают смеяться и подбегают к своей подруге.

— Что случилось? Куницкая, что с тобой?

Маленькое личико девочки бледно. Губы с трудом пропускают слова:

— Это из-за брата... Он участвовал в заговоре... На него донесли. Три дня мы не знали, где он...

И, задыхаясь от рыданий, добавляет:

— Завтра утром его повесят.

Потрясенные девочки окружают бедняжку, хотят расспросить ее и поддержать. Но раздается скрипучий голос мадемуазель Мейер:

— Девочки, довольно болтовни. Поторопитесь!

Маия, онемев от ужаса, проходит на свое место. Еще минуточку назад она мечтала о музыке, о бале. А сейчас под однообразное жужжание первых фраз урока географии, которые она и не пытается понять, ей видится лишь молодое, одухотворенное лицо осужденного Куницкого, виселица, веревка и палач.

В этот вечер Маия, Эля, Броня, Казя и ее сестра Юля не пошли на танцы, а провели всю ночь в комнате Леониды Куницкой. Их возмущение и слезы сливались в одно целое. Свою подругу, истерзанную горем, все окружали скромными, но нежными заботами, поили горячим чаем, обмывали водой ее распухшие от слез веки. И быстро и тягуче шло время для девочек, из которых четыре еще носили гимназическую форму. Но вот слабый свет зари упал на бледные девичьи лица и возвестил о роковом конце; тогда все встали на колени и начали шептать отходную молитву, закрыв руками свои лица, объятые ужасом.

* * *

Три золотые медали, одна за другой, выпали на долю семьи Складовских. Третья досталась Маие по окончании гимназии 12 июня 1883 года.

В гнетущей жаре и духоте читают список награжденных, говорят речи, играют туш. Учителя поздравляют учениц, верховный блюститель русского преподавания Апухтин слабо пожимает руку Маие, получая в ответ ее последний реверанс... В парадном платье, черном по обычаю, с букетом чайных роз, приколотым к корсажу, младшая Складовская прощается со

всеми, клянется подругам писать каждую неделю и покидает навсегда гимназию в Краковске пшедмесьце, взяв под руку отца, гордого успехами дочери.

Маня работала много и хорошо. Отец уже решил, что, прежде чем выбирать дорогу в жизни, Маня поедет на целый год в деревню.

Год каникул! Можно себе представить, чем это должно было показаться девочке, талантливой, во власти раннего призвания, тайком читающей научные пособия... Но нет, в таинственную переходную эпоху юности, когда формировалось ее тело, а черты лица становились тоньше, Маня вдруг обесилась. Отбросив школьные учебники, она в первый и последний раз в своей жизни до упоения наслаждается бездельем.

— Мне не верится, что существуют какие-то геометрия и алгебра, — пишет она Казе, — я совершенно о них забыла.

Вдали от Варшавы и гимназии она живет месяцами у приятнейших ее родственников, оплачивая за гостеприимство какими-то неопределенными уроками их детям или ничтожной суммой денег за питание. Она вся отдается счастьем самой жизни.

Как она беззаботна! Какой вдруг стала радостной и живой! Между прогулкой и обедом она едва находит время, чтобы взяться за перо и описать свое блаженство в письмах, которые обычно начинаются: «Мой дорогой чертенок» или «Душенька Казя».

Маня — Казе:

«Можу тебе сказать, что кроме часового урока французского языка, который я даю маленькому мальчику, я ничего не делаю, буквально «ничего», даже забросила начатую вышивку. У меня нет времени, занятого чем-нибудь определенным... Встаю я то в десять, то в четыре или пять (утра, конечно, а не вечера!). Ни одной серьезной книги не читаю, ничего, кроме глупых развлекательных романов. Несмотря на аттестат, удостоверяющий законченное образование и умственную зрелость, я чувствую себя невероятной душой. Иногда я начинаю хохотать одна, сама с собой, и нахожу искреннее удовлетворение в состоянии полнейшей глупости.

Мы всей компанией ходим гулять в лес, играем в серсо, в волаи (я — очень плохо!), в кошки-мышки, в тугыню и развлекаемся дружики, такими же детскими забавами. Здесь столько земляники, что на пять грошей можно купить вполне достаточное количество, чтобы наесться: полную глубокую тарелку с верхом. Увы, земляника уже кончилась. Боюсь только, что при

возвращении домой мой аппетит не будет иметь границ и моя прожорливость возбудит беспокойство.

Мы много качаемся на качелях, причем из всех сил и страшно высоко, купаемся и ловим раков при свете факелов. Каждое воскресенье запрягают лошадей, чтобы ехать к обедне, а затем мы делаем визит священникам. Оба священника очень умны, весьма забавны, и в их компании мы очень весело проводим время.

На несколько дней я выезжала в Зволу. Там в это время юстил актер Катарбинский — виновник общего веселья. Он пел нам столько песенок, столько декламировал стихов, столько разыгрывал с нами разных шуток и столько собирал для нас крыжовника, что в день его отъезда мы сплели большой венок из маков, полевой гвоздики, васильков и, когда бричка с Катарбинским тронулась в путь, мы бросили ему наш венок, крича во все горло: «Да здравствует... Да здравствует пан Катарбинский!» Он тотчас надел венок себе на голову, а затем, как оказалось, уложил его в какой-то чемодан и увез в Варшаву. Ах, как весело живут в Зволе! Там всегда большое общество, царит такая свобода, независимость и равенство, что ты вообразить себе не можешь. Когда мы ехали оттуда к себе домой, Лансе так лаял, что мы не знали, как с ним быть...»

Лансе играет большую роль в жизни Складовских. При хорошей дрессировке этот коричневый пойнтер мог бы стать вполне приличной охотничьей собакой. Но Маня, ее сестры и брат Юзеф дали ему неправильное воспитание. Его так ласкали, баловали и пичкали всякой снедью, что Лансе превратился в огромного пса и стал домашним деспотом. Портил мебель, опрокидывал горшки с цветами, съедал закуску, предназначенные совсем не для него, в знак приветствия рычал на всех гостей, рвал в мелкие кусочки шляпы и перчатки, оставленные по неосторожности в передней. В награду за такую «добродетель» хозяева обожали деспота и с наступлением лета спорили, кто из них имеет больше прав увести его с собой в деревню на каникулы.

За этот год безделья и умственной дремоты в Мане развилась так и оставшаяся в ней на всю жизнь страсть к деревенской жизни. Приглаживаясь то к одной, то к другой местности в разные времена года, она непрерывно открывала все новые красоты польской земли, по которой расселились ее родственники. В мирной, спокойной Зволе ничто не останавливает взора, и круглый горизонт кажется таким далеким, как нигде в мире. У дяди Ксаверия в Завепице пасутся на лугах пятьдесят породистых лошадей — целый завод. Заняв

у своих кузенов не очень излишние брюки. Маия изучает галон, крупную рысь и становится наседницей.

Она впервые видит перед собой Карпаты — какая красота! Сверкающие снежные вершины и стройные черные ели приводят ее, дитя равнины, в восторженное оцепенение. Ей не забыть ни прогулок по горным тропкам в зарослях черники, ни хижин гуралей, где каждый резной деревянный предмет — произведение искусства; ни маленького озера, зажатого среди вершин, холодного и чистого, похожего на синий глаз, с таким красивым названием — Морское око.

Здесь, близ Карпатских гор, у границ Галиции, Маия проведет зиму в шумной семье дяди Эддислава, нотариуса в Скальбмерже. Хозяин дома весельчак, его жена — красавица, три дочери только и думают о том, как бы посмеяться.

Разве соскучится здесь Маия? Каждую неделю приезд какого-нибудь гостя или местный праздник вызывает увлекательную суматоху. Родители готовят дичь, дочери пекут пироги или же запираются у себя в комнатах и спешно нашивают ленты на пестрые костюмы для предстоящего маскарада.

Достаточно ли сказать, что это бал? Конечно, нет! Это феерический объезд всей округи в разгар масленицы. Вечером по снегу двое саней мчат укрытых полостью Маию Складовскую и трех ее кузин в нарядах краковских крестьянок и в масках. Их сопровождают молодые люди в живописных крестьянских костюмах, верхом и с факелами в руках. А между соснами мигают другие факелы, и в ночном морозном воздухе слышатся ритмичные звуки: это подъезжают сани с музыкантами, которые двое суток будут извлекать из своих скрипок упительные мелодии вальсов, краковяков и мазурок, а все присутствующие станут подпевать хором. А сейчас четыре неистовых музыканта играют до тех пор, пока еще трое, пятеро, десятеро саней не откликнутся на призыв скрипок и не разыщут их в ночной тьме. Невзирая на ухабы и головокружительные спуски по обледенелым склонам, музыканты не пропускают ни одного прикосновения смычка к струнам, ни одной ноты и торжественно проводят до первой остановки эту фантастическую ночную фарандолу.

Наконец шумная процессия останавливается, высаживается, затем стук в двери заснувшего дома, притворное изумление хозяев... Проходит всего несколько минут, музыкантов усаживают прямо на стол, и начинается бал при свете факелов и канделябров, а из буфетов извлекаются запасы всякой снеди. Затем сигнал — и дом пустеет. Нет никого: ни обитателей его, ни масок, ни саней, ни лошадей. Все мчатся по лесу к другому дому, к третьему, четвертому, захватывая с собой каждый раз

новых участников веселья. Сидище всходит и заходит. Скрипачи едва успевают перевести дыхание и немного поспать в каком-нибудь амбаре вместе с изнеможенными танцорами. На второй, деиь вечером сани останавливаются перед самым большим в округе помещичьим домом, где предстоит «настоящий бал», и четыре музыканта начинают первый краковяк покоряющим всех фортиссимо.

Юноша в белом суконном костюме с вышивкой спешно приглашает лучшую танцовщицу: шестнадцатилетнюю Марию Складовскую; в бархатном казакине с пышными кисейными рукавами, увенчанная диадемой из колосьев с яркими свисающими лентами, Маия похожа на девушку из горных деревень, одетую в праздничный наряд.

Свой восторг Маия описывает Броие:

«В прошлую субботу я еще раз в жизни насладилась прелестью карнивала, на «кулите» у Луневских, и думаю, что мне уж никогда так не развлекаться; ведь на обычных балах с их фраками и бальными нарядами нет ни такой увлекательности, ни такого безумного веселья. Мы с панной Бурзинской приехали довольно рано. Я заделалась парикмахершей и причесала всех девушек для кулиты очень красиво — честное слово! Дорогой произошло несколько неожиданных происшествий: потеряли, а потом нашли музыкантов, одни сани опрокинулись и т. д. Когда приехал староста (Пено), он объявил мне, что я выбрана «почетной девушкой» кулиты, и представил мне моего «почетного парня», очень красивого и элегантного молодого человека из Кракова. Вся кулита была с начала до конца сплошное восхищение. Последнюю мазурку мы танцевали в восемь часов утра. А какие красивые костюмы! Танцевали и чудесный оберек с фигурами; прими к сведению, что я теперь танцую оберек в совершенстве. Я столько танцевала, что когда играли вальс, у меня были приглашения уже на несколько танцев вперед. Если мне, к сожалению, случалось выйти на минуту в другую комнату, чтобы передохнуть, то кавалеры выстраивались у самой двери, чтобы подождать и не проглядеть меня.

Одним словом, может быть, никогда, никогда в жизни мне не придется веселиться так, как теперь. После этого праздника я сильно затосковала по дому. Мы с тетей решили, что если я буду выходить замуж, то мою свадьбу сыграем по-краковски, во время кулиты. Конечно, это шутка, но самый проект мне очень улыбается!»

Такое волшебное безделье требовало апофеоза. В июле 1884 года, как только Маня вернулась домой в Варшаву, к Скловскому явилась его бывшая ученица графиня Флери, полька, вышедшая замуж за француза. Так как у младших дочерей учителя нет еще никаких планов на летние каникулы, то почему бы им не приехать к ней в имение на два месяца?

«Это произошло в воскресенье, — пишет Маня Казе, — а в понедельник мы с Элей уже выехали: пришла телеграмма, извещавшая, что нас будут ждать лошади на станции. Вот уже несколько недель, как мы живем в Кемпе, и мне бы следовало рассказать тебе о здешней жизни, но у меня не хватает на это смелости, скажу только, что живем чудесно. Кемпа расположена при слиянии Бебжи с Наревом; иными словами, воды сколько хочешь: и для купания, и для катания на лодках, что приводит меня в восхищение. Учусь грести и уже делаю успехи, а купание — идеальное. Мы делаем все, что взбредет в голову, спим то ночью, то днем, проделывая такие взбалмошные шутки, что за некоторые нас стоило бы запереть в сумасшедший дом.»

Маня почти не преувеличивает. Дух невинного сумасбродства веет над красной усадьбой, окруженной гладкими, сверкающими меандрами двух широких рек. Из окон младших Скловских далеко видны зелень и пологие берега, обсаженные рядами ив и тополей, однако реки часто выходят из берегов и заливают окрестные луга спокойной гладью, в которой отражается небесная лазурь.

В короткое время Маня с Элей становятся заводилами молодежи в Кемпе. Хозяева усадьбы занимают своеобразную позицию: когда они вместе, то увещевают молодежь, порицают ее выходки и грозят принять суровые меры. Но в отдельности потихоньку друг от друга каждый из супругов становится сообщником виновных, проявляет к ним полную терпимость и даже содействует их затеям.

Что сегодня делать? Покататься верхом? Пойти в лес собирать грибы или бруснику? Это чересчур степенно! Маня спрашивает Яна Монюшко, брата графини Флери, съездив в соседний город. А пока он отсутствует, Маня с помощью других подвешивает к потолочным балкам всю обстановку в комнате уехавшего юноши: кровать, стол, стулья, чемоданы, одежду и прочее. И вернушемуся Яну придется в темноте барахтаться среди своей «воздушной» обстановки.

Почему поставили так много всяких яств? Для особо избранных гостей? А «детей» не пригласят за этот стол? Это нестерпимо! Пока приехавшие гости осматривают сад, «дети» съе-

дают лакомства, а у опустошенного стола наспех ставят манекен, который изображает самого графа Флери, наевшегося до отвала. Затем все «дети» исчезают.

А где искать преступников? Где их найдешь и в этот, и в следующие дни? Всякий раз, совершив какое-нибудь «преступление», они улетучиваются как призрак. Ищут их в комнатах, а они валяются на траве в дальнем уголке парка; предполагают, что они пошли гулять, а они, утащив из кухни целую корзинку крыжовника, скрылись в погребе, где и поедают свою добычу; если в пять часов утра в доме все тихо, значит никого из молодежи нет, значит Маня и Эля со всей своей командой решили с восходом солнца пойти на реку искупаться. Есть только один способ заманить их в дом: обещать что-нибудь веселое, шарады, танцы. К этому способу и прибегает графиня Флери как можно чаще. За восемь недель она устроила три бала, два пикника на свежем воздухе, несколько прогулок по окрестностям и катаний на лодках по реке.

Граф и графиня Флери не остаются без награды за свое широкое гостеприимство. Юные безумцы обожают и мужа и жену, оказывают им полное доверие, одаряют самой близкой дружбой и радуют своей чудесной радостью, всегда чистой, даже в самых сумасбродных ее проявлениях.

Они умеют делать хозяевам приятные сюрпризы: в день четырнадцатилетия их свадьбы два делегата подносят им огромный венок из всяких овощей весом в пятьдесят килограммов и усаживают виновников торжества под балдахин из нарядно драпированных тканей. В полночь тишине самая юная девица декламирует поэму, сочиненную к данному случаю.

Автор поэмы — Маня; она создала ее, расхаживая широким шагом по своей комнате в порыве вдохновения. Кончалась поэма так:

А в День Людовика Святого
Мы жаждем ехать на пикник.
Зовите ж юных кавалеров.
Так, чтоб у каждой был жених,
Тогда по вашему примеру
И мы, как можно поскорей,
Пойдем к желанному венцу.

Намек не остается без ответа.

Чета Флери в ответ немедленно объявляет большой бал. Хозяйка дома заказывает пироги, гирлянды, свечи. А Маня и Эля задумываются над своим нарядом для ночного праздника.

Нелегко быть восхитительной, когда нет денег, и дешевая портниха шьет тебе всего два платья в год: одно простое, дру-

гое — для балов. Подсчитав свои деньги, сестры решают, как им быть. Тюль, покрывавший сверху платье Мани, уже потрепан, но атласный голубой чехол еще в хорошем состоянии. Надо схватить в город, купить подешевле голубого тарлатана и заменить им пришедший в упадок тюль, задрапировав новым тарлатаном неизносимый чехол платья. Затем пришить тут ленточку, тут бантик, пожертвовать несколько рублей на шевровые туфельки, а в саду собрать букетик к корсажу и несколько роз в прическу. Вечером, в день бала, когда музыканты настраивают инструменты, а изумительно красивая Эля уже порхает по празднично украшенному дому, Маня в последний раз осматривает себя в зеркало. Все вышло очень хорошо: и нарядный тарлатан, и живые цветы у оживленного лица, и эти красивые новенькие туфли, но Маня сегодня будет столько танцевать, что они останутся к утру без подошв и их придется выбросить!

* * *

Лицо моей матери, когда она спустя много лет вспоминала об этих днях веселья, имело какое-то отрешенное, нежное выражение. Я видела перед собой ее лицо, такое усталое после полувека всяческих забот и большого научного труда, и благодарил ее судьбу за то, что раньше, чем направить эту женщину на путь сурового, неумолимого призвания, она ей даровала возможность носиться на саях по избалмошным карнавальным празднествам и трепать туфельки в вихре ночного бала.

ПРИЗВАНИЕ

Я попыталась описать Манию Складовскую в детстве, юности, в ее учебных занятиях и забавах. Она здорова, честна, чувствительна и весела. У нее любящее сердце. По словам учителей, она очень даровита. Но никакие особые способности не выделяют Манию из среды других детей, ее подруг и сверстниц. Еще ничто не указывает на особый талант.

А вот другой ее портрет, уже взрослой девушки. Он более значителен. За это время в ее жизни сглаживаются черты любимых лиц, и только нежное воспоминание о них останется у Мани до конца жизни. Мало-помалу меняются дружеские связи. Уходят в прошлое пансион, гимназия, товарищеские узы, на вид такие крепкие, но ослабевающие очень быстро, как только исчезает то ежедневное общение, которое поддерживало их.

Призвание Мани выявляется благодаря двум личностям, проникнутым добром и пониманием, самым близким и родным, — отцу и старшей сестре.

Мне бы хотелось показать, как под влиянием этих двух друзей зарождались у Мани мысли о своем будущем. Большинству людей в подобных случаях свойственны чрезмерные желания, но как же скромны, при всей их смелости, мечты будущей Марии Кюри!

В сентябре 1884 года, упоенная своим четырнадцатилетним бродяжничеством, Маня возвращается в Варшаву на новую семейную квартиру рядом с гимназией, где она училась в детстве.

Переселение с улицы Лешно на Новолипскую вызвано существенной переменой в жизни учителя Склодовского. Составившись, Склодовский оставил за собой преподавание в гимназии, но отказался держать у себя пансионеров. Новая квартира была теснее прежней, уютнее, но и беднее, и там вместе со всей семьей поселилась Маня.

Те, кто встречались со Склодовским в первый раз, считали его суровым человеком. Тридцать лет преподавательской работы в средних учебных заведениях придали этому полному, невысокому человеку некоторую величавость, а кое-какие внешние черты изобличали в нем образцового педагога: темные цвета всегда старательно вычищенной одежды, точные, скупые жесты и степенная вразумительная речь. Все его действия методичны. Пишет ли он письмо — фразы логичны, почерк сжат. Ведет ли он детей на экскурсию — случайностям нет места. Весь путь заранее изучен и проходит по самым примечательным местам, а сам учитель красноречиво поясняет прелесть пейзажа или историческое значение какого-нибудь памятник старины.

Маня даже не замечает этих мелких педагогических привычек. Она нежно любит своего отца. Он ее покровитель, ее учитель. Она готова думать, что отец обладает всеобъемлющими знаниями. И в самом деле. Склодовский знает все или почти все. В какой стране теперешней Европы найдешь у скромного учителя средней школы такую эрудицию! Глава семьи, он еле находит время расширять свои научные познания, роясь в журналах, которые достать не так-то легко. Ему представляется вполне естественным быть в курсе успехов математики, химии и физики, не менее естественным знать кроме польского и русского языка латинский, греческий, говорить по-французски, по-немецки и по-английски. Он переводит лучшие произведения поэзии и прозы иностранных авторов на свой родной язык. Сочиняет много стихов сам и старательно записывает их в простую

школьную тетрадку с черно-зеленой обложкой: «Мои друзья в день их рождения», «Здравница на свадьбу», «Бывшим моим ученикам»...

Каждую субботу Складовский, его сын и трое дочерей проводят вечер вместе, посвящая его литературе. Усевшись за кипящим самоваром, они беседуют. Старик отец декламирует стихи или читает вслух какую-нибудь книгу. Дети слушают с искренним восхищением: у этого учителя с залысинами на лбу, с полным благородным лицом и маленькой седой бородкой замечательный дар чтеца. Так каждую субботу знакомый милый голос доносит до слуха Маня лучшие творения мировой литературы. Когда-то в годы далекого детства этот голос рассказывал ей сказки, путешествия или читал «Давида Копперфильда», переводя его сразу, без запинки с английского на польский. И тот же голос, хоть и слегка надтреснутый из-за несчетного количества гимназических уроков, декламирует теперь внимательным юным слушателям польских романтиков, поэтов эпохи рабства Польши и ее восстаний: Словацкого, Красиńskiego, Мицкевича. Переворачивая страницы истрепанных томов, а среди них есть и запрещенные царским правительством, старый учитель декламирует героические строфы из «Пана Тадеуша»^{*} или скорбные стихи «Кордиана»^{**}.

Никогда не забыть Мане этих вечеров. Благодаря своему отцу Маня развивается в нителлектуальной атмосфере, редкой по содержательности и знакомой только очень немногим девушкам. Крепкие узы связывают Маню с человеком, который так трогательно, так ревностно стремится сделать ее жизнь привлекательной и содержательной. Она с тревогой замечает тайную грусть, скрытую под внешним спокойствием Складовского, грусть неутешного вдовца, угрызения совести щепетильного отца, упрекающего себя за легковерие, в результате которого потеряно небольшое, но состояние. Иногда этот несчастный человек не выдерживает и жалуется детям на самого себя:

— Как мог я потерять столько денег! Ведь я мечтал дать вам самое утонченное образование, отправить путешествовать, послать учиться за границу!.. И я же сам все это разрушил! Теперь у меня нет денег, я не могу вам помогать. А скоро стану бременем для вас. Что с вами будет?

^{*} «Пан Тадеуш» — поэма великого польского поэта А. Мицкевича. — *Прим. ред.*

^{**} «Кордиан» — драма известного польского поэта Ю. Словацкого. — *Прим. ред.*

Учитель тяжело вздыхает и, обернувшись к детям, подсознательно ждет, чтобы они ободрили его своими жизнерадостными возражениями. Вот они, его дети, сидят все вместе вокруг керосиновой лампы, стоящей на маленьком бюро и оживляющей веселым светом зелень любовию выращенных им цветов. Четыре упрямых лба, четыре мужественные улыбки. Живой взгляд их юных глаз разных оттенков — от цвета барвинка до пепельно-серого — горит одной мыслью, одной надеждой:

— Мы молодые. Мы сильные.

* * *

Опасения Складовского вполне понятны. Будущая судьба его детей определялась этим годом, а положение их было далеко не блестящим. Проблема дальнейшей жизни решалась просто: теперешнего заработка учителя едва хватало, чтобы оплатить квартиру, кухарку и питание, а вскоре ему придется перейти на небольшую пенсию, поэтому Юзефу и Броне, Эле и Мане надо теперь же начать зарабатывать себе на жизнь.

Естественно, что первой мыслью сына и дочерей двух педагогов было давать уроки: «Студент-медик ищет место репетитора», «Молодая девушка с аттестатом дает уроки арифметики, геометрии и французского за умеренную плату». Юные Складовские становятся в ряды сотен интеллигентных молодых людей, которые бегают по Варшаве в поисках уроков.

Неблагодарное занятие! В шестнадцать с половиной лет Маня узнает трудности и унижения, какие ожидают «репетиторшу». Длинные концы по городу и в дождь, и в холод. Капризные или ленивые ученики. Родители учеников, заставляющие ждать начало занятий на сквозняке и в передней («Пусть панна Складовская соблаговолит подождать... через четверть часа моя дочь будет готова!») или просто забывающие заплатить в конце месяца те несколько рублей, которые они должны и которые Маня так рассчитывала получить сегодня утром!..

Наступает зима. Жизнь на Новолипской серая, и каждый новый день похож на прошедший.

«В доме все по-прежнему, — пишет Маня. — Растения чувствуют себя хорошо, авалии цветут. Лансе спит на половичке. Наша поденная служанка — Гуся — переделывает мое платье, которое я хочу отдать перекрасить: оно будет вполне приличное и даже миленькое. Платье Брони уже готово и вышло очень хорошо. Не пишу никому. У меня очень мало времени, а еще меньше денег. Некая особа, узнавшая о нас от общих знако-

мых, явилась справиться, сколько мы берем за урок. Когда Броня сказала ей, что пятьдесят копеек за час, дама убежала как ошпаренная!»

Была ли Маня просто барышней-беспреданницей, энергичной и рассудительной, думавшей только о том, как бы увеличить количество своих учеников? Нет! Она мужественно вступила на трудный, хлопотливый путь частных уроков, но только из нужды. В действительности у нее была своя тайная, горячо волнующая жизнь. Как и все польки ее круга в ту эпоху, Маня была полна восторженных мечтаний. Как и все молодые люди, она была охвачена чувством патриотизма. В их планах собственного будущего служение Польше занимало первенствующее место над вопросами личного благополучия, любви и брака. Один, мечтая о революционной борьбе и ее опасности, участвовал в заговоре. Другой стремился к публицистической деятельности. Третий хотел служить религии, поскольку сам католицизм представлялся средством, силой, которая противостояла православным угнетателям.

Мистически религиозная мечта стала для Мани чуждой. По традиции ради приличия она еще придерживалась религиозных обрядов, но сама всра, поколебленная смертью матери, мало-помалу испарилась. Испытав на себе сильное воздействие глубоко религиозной матери, эти последние шесть или семь лет Маня жила под влиянием своего отца, не столько католика, сколько несознающего вольнодумца. От детской религиозности остались в ней лишь смутные духовные запросы, стремление преклоняться перед чем-то великим и возвышенным.

Хотя среди ее друзей находились революционеры и Маня была так неосторожна, что давала им пользоваться ее паспортом, сама она нисколько не стремилась участвовать в покушениях, бросать бомбы в царскую карету или в экипаж варшавского губернатора. В той среде польской интеллигенции, к которой принадлежала Маня, намечается вполне определенная тенденция оставить «несбыточные надежды». Довольно бесполезных сожалений! Довольно неорганизованных, стихийных выступлений за автономию! Сейчас важно одно: работать, повышать в Польше цивилизацию, поднимать народное образование в противовес царским властям, которые сознательно держали народ в духовной темноте.

Философские учения данной эпохи направили это национальное брожение умов по особому пути. В предшествующие годы позитивизм Огюста Конта и Герберта Спенсера внес новые основы в мышление Европы. Одновременно работы Пастера, Дарвина и Клода Бернара показали огромное значение

точных наук. В Варшаве, как и везде, исчезает вкус к произведениям романтиков. Искусство, культура отходят на второй план. Юношество, склонное к категорическим суждениям, сразу поставило химию и биологию выше литературы, а преклонение перед учеными пришло на смену преклонению перед писателями.

Но надо сказать, что если эти новые идеи развивались в свободных странах вполне открыто, то не так обстояло дело в Польше, где каждое проявление свободы мысли считалось подозрительным. Новые теории сюда просачивались и развивались по подземным каналам.

Вскоре после возвращения в Варшаву Маия Складовская попадает в среду ярких поклонников позитивизма. Сильное влияние оказывает на нее учительница женской гимназии Пясецкая, блондинка лет двадцати шести — двадцати семи, худая и своеобразно некрасивая. Влюбившись в студента Норблинема, недавно исключенного из университета за политическую неблагонадежность, она страстно увлеклась современными доктринами.

Маия первоначально отнеслась к этому слегка недоверчиво и боязливо, но вскоре прониклась смелыми идеями своей подруги. Ее с сестрами Броней и Элей и их подругой Марией Раковской допускают в так называемый «Вольный университет», в котором читались курсы анатомии, естественной истории и социологии. Их вели профессора-добровольцы, помогавшие молодежи расширять свой кругозор. Эти лекции читались тайно или у Пясецкой, или на какой-нибудь другой частной квартире. Ученики группами по восемь—десять человек собирались вместе, слушали и записывали лекции, обменивались книгами, брошюрами, статьями. При малейшем постороннем шуме они приходили в трепет. Если бы полиция накрыла их, всем грозило бы тюремное заключение.

Сорок лет спустя Мария Кюри писала:

«Я живо помню теплую атмосферу умственного и общественного братства, которая тогда царила между нами. Возможности для наших действий были скудны, а потому и наши успехи не могли быть значительными; но все же я продолжаю верить в идеи, руководившие в то время нами, лишь они способны привести к настоящему прогрессу общества. Не усовершенствование человеческую личность, нельзя построить лучший мир. С этой целью каждый из нас обязан работать над собой, над совершенствованием своей личности, возлагая на себя определенную часть ответственности за судьбу человечества; наш личный долг — помочь тем, кому мы можем быть наиболее полезны».

«Вольный университет» не ограничивался только пополнением образования девиц и юношей, окончивших гимназию. Сами слушатели становятся наставниками. Пьясецкая уговаривает Маню давать уроки бедным женщинам. Маня берет на себя работниц швейной мастерской, читает им книги и постепенно составляет для них библиотеку на польском языке.

Можно себе представить увлечение этой семнадцатилетней девушки своей работой! Ее детство протекло среди чудесных, обожествляемых вещей — физических приборов ее отца, и он еще до «моды» на точные науки привил Мане свою научную пытливость. Но прежний детский мир уже не удовлетворяет кипучую натуру девушки. Маня мечтает не только о математике и химии. Она мечтает изменить современный общественный порядок. Она стремится просветить народ. По своим передовым идеям, по благородству души Маня — социалистка в полном смысле слова. Однако она не примыкает к варшавской группе студентов-социалистов.

Маня еще не понимает, что ей необходимо разобраться в своих стремлениях и на чем-нибудь остановиться. Пока же с одинаковой восторженностью она отдается патриотическим чувствам, и гуманистическим идеям, и своим интеллектуальным запросам.

Несмотря на влияние новых идей, несмотря на бурную деятельность, она по-прежнему очаровательна. Хорошее, строго выдержанное воспитание, пример целомудренной семьи охраняли ее юность и не давали впасть в крайности. Восторженность и даже страстность всегда сочетались в ней с изяществом, с каким-то сдержанным достоинством. Никогда мы не заметим у нее революционной позы или подчеркнуто разнузданных манер. Самобытная, независимая Маня никогда не скажет жаргонного слова. Ей никогда не придет в голову даже закурить.

Если между часами репетиторства, занятиями с работницами мастерских и тайными лекциями по анатомии у Маши появляется свободное время, она уходит к себе в комнату, где что-то читает, что-то пишет. Ушло то время, когда она глотала пустые нелепые романы. Теперь она читает Гончарова, Достоевского или «Эмансипанток» Болеслава Пруса, где встречаются портреты молодых полек, таких же, как она, и так же стремящихся к духовной культуре. Ее тетрадка с записями для себя хорошо отражает духовную жизнь юной девушки, жадной до всего и стоящей на распутье своих разносторонних дарований: десять страниц тщательных рисунков свинцовым карандашом, иллюстрирующих басни Лафонтена; немецкие и польские стихи; отрывки из книги Макса Нордау «Ложь условности»; стихотворения Красиньского, Словацкого и Гейне;

три страницы из ренаиовской «Жизни Иисуса», начинающиеся словами: «Никто и никогда еще не ставил в своей жизни любовь к Человечеству так высоко над суетными, мирскими интересами, как делал это он (Иисус)...»; затем выписки из работ русских философов; отрывок из Луи Блана; страничка из Брандеса; снова рисунки животных и цветов; опять Гейне; собственные переводы на польский язык из Мюссе, Прюдома, Франсуа Коппе...

Сколько противоречий! Все дело в том, что эта «эмансипированная женщина», коротко обрезав свои чудесные белокурые волосы в знак презрения к кокетству, все же вздыхает по любви и переписывает целиком прелестное, но чуть слащавое стихотворение.

Маня скрывается от своих подруг, что ее пленяют и «Разбитая ваза», и «Прощай, Сюзан». Ей трудно признаться в этом и самой себе. Строгое платье, выражение лица, до странности ребячливое из-за коротко подстриженных кудрей, делают Маню похожей на мальчика-подростка, который бегают по собраниям, слушает доклады, спорит, выходит из себя. Своим подругам она декламирует стихотворения Асныка, вдохновленные горячей любовью к родине и ставшие «Исповедованием веры» этой молодежи:

Луч светлый Истины найдите,
Ищите новых, неизведанных путей,
Когда же взор Человечества проникнет еще дальше,
То и тогда откроется пред ним достаточно чудес.
...В каждой эпохе рождаются свои мечты
И забываются вчерашние, как сон.
Берите ж в руки светоч знания,
Творите новое в созданиях веков
И стройте будущий Дворец для будущих людей...

Маня дарит Марии Раковской фотографию, где изображены она и Броня, с надписью: «Идеальной позитивистке от двух позитивных идеалистов».

Две наши «позитивные идеалистки» целыми часами обдумывают вместе, как им устроить свою жизнь в будущем. Увы! Ни Аснык, ни Брандес не давали указаний, как получить высшее образование в Варшаве с университетом, куда не допускают женщин. Не давали и советов, как быстро нажить состояние уроками за пятьдесят копеек.

Великодушная Маня огорчена. Хотя и младшая в семье, она чувствует себя ответственной за будущее старших. Юзеф

и Эля не вызывают большого беспокойства: молодой человек станет врачом, а увлекающаяся красавица Эля еще колеблется: стать ли ей учительницей или же певицей; она и поет во весь голос, и запасается дипломами, и в то же время отказывает всем претендентам на ее руку.

Но Броня! Как помочь Броне? Едва она окончила гимназию, на нее свалилось бремя хозяйственных забот. Закупая продукты для всей семьи, составляя разные меню, занимаясь заготовкой варенья, Броня стала замечательной хозяйкой, но она приходит в отчаяние от мысли быть только ею. Мане понятно состояние Брони, так как она знает ее тайную мечту: поехать в Париж, получить там медицинское образование, вернуться в Польшу и стать земским врачом. Бедняжка Броня уже скопила немного денег, но жизнь за границей так дорога! Сколько месяцев, сколько лет надо еще ждать?

Такой уж уродилась Маня, что ее все время тревожит упадок духа и явная нервозность Брони. В тревоге Маня забывает свои честолюбивые мечты. Забывает свое такое же влечение к «земле обетованной», свою заветную мечту: перенестись через тысячи километров, отделявших ее от Сорбоины, утолить самую важную потребность своей природы — жажду знания, вернуться с этим драгоценным багажом в Варшаву и стать скромной наставницей своих дорогих поляков.

Такое сердечное участие в судьбе Брони вызвано не только узами кровного родства, но и более возвышенной привязанностью в ответ на теплое чувство Брони, которая после матери окружала Маню материнскими заботами. В этой сплоченной семье обе сестры чувствовали особое влечение друг к другу. Природные свойства их душ как-то взаимно дополнялись: старшая своим практическим умом и опытностью внушала младшей уважение, и Маня выносила на ее решение все вопросы своей повседневной жизни. Младшая же, более застенчивая и увлекающаяся, была для Брони юной замечательной подругой, в которой чувство дружбы усиливалось благодарностью, каким-то неосознанным желанием оплатить свой долг.

И вот однажды, когда Броня, набрасывая на клочке бумаги цифры, в тысячный раз подсчитывала деньги, которые были у нее в налички, а главное же, которых не хватало, Маня неожиданно говорит:

— За последнее время я много размышляла. Говорила и с отцом. И думается мне, что нашла выход.

— Выход?

Маня подходит к своей сестре. Уговорить ее на то, что задумала Маня, — дело трудное. Приходится взвешивать каждое слово.

— Сколько месяцев ты сможешь прожить в Париже на свои накопленные деньги?

— Хватит на дорогу и на один год занятий в университете, — отвечает Броня. — Но ты же знаешь, что полный курс на медицинском факультете занимает пять лет.

— Ты понимаешь, Броня, уроками по полтиннику мы никогда не выпутаемся из такого положения.

— Что же делать?

— Мы можем заключить союз. Если мы будем биться каждый за себя, ни тебе, ни мне не удастся поехать за границу. А при моем способе ты уже второй осенью, через несколько месяцев сядешь в поезд...

— Маня, ты сошла с ума!

— Нет. Сначала ты будешь жить на свои деньги. А потом я так устроюсь, что буду посылать тебе на жизнь, папа тоже. А вместе с тем я буду копить деньги и на свое учение в дальнейшем. Когда же ты станешь врачом, поеду учиться я, а ты мне будешь помогать.

На глазах Броня проступают слезы. Она понимает все величие такого предложения. Но в Маниной программе есть один неясный пункт.

— Одно мне непонятно. Неужели ты надеешься зарабатывать столько денег, чтобы и жить самой, и посылать мне, да еще копить?

— Именно так! — непринужденно отвечает Маня. — Я нашла выход. Я поступаю гувернанткой в какое-нибудь семейство. Мне будут обеспечены квартира, стол, прачка, а сверх того я буду получать в год рублей четырехста, а то и больше. Как видишь, все устраивается.

— Маня... Манечка!

Броню волнует не будущая зависимость Мани от других людей. Ей, подлинной «идеалистке», предрассудки так же чужды, как и Маше. Не это... а мысль, что Маня, давая ей возможность теперь же приступить к высшему образованию, обрекает себя на безрадостную ремесленную работу, мучительное ожидание. И Броня сопротивляется.

— А почему именно мне ехать первой? Почему не поменяться нам ролями? Ты такая способная... вероятно, способнее меня. Ты очнь быстро пойдешь вперед. Почему же я?

— Ах, Броня, не строй из себя дурачку! Да потому, что тебе двадцать лет, а мне семнадцать! Потому, что ты уже целую вечность бегашь, хлопчешь по хозяйству, а я располагаю своим временем как хочу. Да и папа того же мнения: вполне естественно, что старшая посдет первой. Когда у тебя будет практика, тогда ты осыплешь меня золотом — во всяком

случае, я так рассчитываю! Наконец-то мы сделаем что-то разумное, действительно полезное!

* * *

Сентябрьское утро 1885 года, в приемной агентства по найму сидит молоденькая девушка, дожидаясь очереди. Из двух платьев она выбрала самое скромное. На голове поношенная шляпка, булавки для волос кое-как придерживают светлые кудри, отпущенные несколько месяцев тому назад. Гувернантке, хотя бы и «позитивистке», не полагается быть стриженной. Она должна быть коррективной, обыкновенной, такой, как все.

Дверь открывается. Из нее выходит худая женщина с унылым выражением лица, идет по приемной и перед выходом делает Мане прощальный жест. Это товарка Мани по профессии. Сидя рядом на плетеных стульях, единственной мебели в приемной, они успели поговорить друг с другом несколько минут и взаимно пожелать удач.

Маня встает со стула и вдруг робеет. Машинально стискивает рукой тонкую пачку документов и каких-то писем. В соседней комнате за крошечным письменным столом сидит полная дама.

— Что вам угодно, мадемуазель?

— Место гувернантки.

— Имеете рекомендацию?

— Да... Я уже давала частные уроки. Вот рекомендательные письма от родителей моих учеников. Вот аттестат.

Директриса агентства просматривает профессиональным взглядом документы Мани. Внимание директрисы на чем-то останавливается. Она поднимает голову и уже с большим интересом разглядывает молоденькую девушку.

— Вы хорошо владеете немецким, русским, французским и английским?

— Да, мадам. Английским немного хуже... Но могу преподавать все, что требуется программой казенных учебных заведений. Я кончила гимназию с золотой медалью.

— А! Какие же ваши условия?

— Полное содержание и четыреста рублей в год.

— Четыреста,— повторяет дама ничего не выражающим тоном.— Кто ваши родители?

— Мой отец учитель гимназии.

— Хорошо. Я наведу справки. Для вас у меня, возможно, и найдется кое-что. А сколько же вам лет?

— Семнадцать,— отвечает Маня, густо покраснев, но тут же с ободряющей улыбкой добавляет: — Скоро восемнадцать.

Дама безупречным «английским» почерком заносит на карточку новой кандидатки:

«Мария Скловская. Хорошие рекомендации. Дельная. Желаемое место: гувернантка. Плата: четыреста рублей в год».

Она возвращает Мане ее бумаги.

— Благодарю, мадемуазель. Когда будет нужно, я вам напишу.

ГУВЕРНАНТКА

Маня — своей двоюродной сестре Хеирике Михайловской, 10 декабря 1885 года:

«Дорогая Хеирике, со времени нашей разлуки я веду жизнь пленницы. Как тебе известно, я взяла место в семье адвоката Б. Не пожелаю и злейшему моему врагу жить в таком аду! Мои отношения с самой Б. в конце концов сделались такими натянутыми, что я не вынесла и все ей высказала. А так как и она была в таком же восторге от меня, как я от нее, то мы отлично поняли друг друга.

Их дом принадлежит к числу тех богатых домов, где пристоях говорят по-французски — языком французских трубочистов, где по счетам платят раз в полгода, но вместе с тем бросают деньги на ветер и при этом скредно экономят керосин для ламп.

Имеют пять человек прислуги, играют в либерализм, а на самом деле в доме царит беспросветная тупость. Приторно подслащенное злословие заливают всех, не оставляя на ближнем ни одной сухой нитки.

Здесь я постигла лучше, каков род человеческий. Я узнала, что личности, описанные в романах, существуют и в действительности, а также то, что нельзя иметь дела с людьми, испорченными своим богатством».

Картина беспощадная. Написанная человеком, чуждым злобе, она показывает, какой еще наивной была Маня и сколько оставалось в ней иллюзий. Входя наугад в польскую богатую семью, она рассчитывала там найти благодущных родителей и милых деток. Она была готова привязаться к ним, полюбить их. И какое жестокое разочарование!

Письма этой молодой гувернантки дают нам возможность косвенным путем оценить превосходство окружения родной

семьи, с которой она только что рассталась. Конечно, и в своем кругу интеллигенции Мане приходилось встречать ничтожных людей, но даже среди них она не замечала душвной низости, корыстности, отсутствия чувства чести. У себя дома ни одно грубое или дурное слово не доходило никогда до ее слуха. Семейные ссоры, злые пересуды привели бы Складовских в ужас. Всякий раз, когда Маня сталкивается с глупостью, мелочностью, вульгарностью, мы видим, что она изумлена, возмущена.

Высокие духовные качества у спутников Манниной юности, их яркий интеллект позволяют найти ответ на одну загадку... Почему окружающие Маню не заметили в ней еще раньше ее призвания, ее особых дарований? Отчего не послали ее в Париж учиться, а допустили взять место гувернантки?

Среди исключительно одаренных личностей, рядом с тремя молодыми людьми, получившими один за другим аттестаты зрелости и золотые медали, такими же блестящими, честолюбивыми, горячими в работе, как и сама Маня, будущая Мари Кюри не казалась исключенисм. Другое дело в среде ограниченных людей: там большие дарования сразу дают о себе знать, вызывают удивление, толки. Здесь же растут под одной кровлей Юзеф, Броня, Эля, Маня — все наделенные большими способностями. Вот почему ни старики, ни молодежь этой семьи не разглядели в одном из молодых ее членов проявление большого, исключительного ума. Никто еще не замечает, что Маня — человек другого склада, не такой, как ее брат и сестры. Да об этом она не подозревает и сама.

Сравнивая себя со своими близкими, Маня по скромности склонна к самоуничижению. Но когда новая профессия вводит Маню в буржуазные семейства, то превосходство ее бросается в глаза. Это понимает даже сама Маня. Молодая девушка не ставит ни во что превосходство по родовитости и по богатству, но гордится своей семьей и воспитанием. В первых же оценках, какие она даст своим «хозяевам», проглядывают временами презрительное отношение к ним и иезвиная гордость.

Из своего первого горького опыта Маня извлекла не только философский взгляд на род человеческий и на «людей, испорченных своим богатством». Она поняла, что ее план, изложенный недавно Броне, требует серьезных изменений.

Принимая место в родном городе, Маня надеялась заработать значительную сумму денег и вместе с тем не обречь себя на тяжкое изгнание. Для новоиспеченной гувернантки остаться здесь, в Варшаве, являлось облегчением ее тяжелого труда. Это значило жить вблизи родного очага, иметь возможность каждый день поговорить, хотя бы минутку, с отцом,

поддерживать связь с друзьями по «Вольному университету», а может быть, — кто знает? — и продолжать свое образование на вечерних курсах.

Но одна жертва влечет за собой другую, нельзя жертвовать собой наполовину. Жребий, избранный юной Маней, оказывается еще недостаточно тяжким. Она зарабатывает не столько, сколько нужно, а тратит слишком много. Полученные за уроки деньги расходятся по мелочам на ежедневные покупки, и в конце месяца остаток заработка выражается ничтожной суммой. А между тем надо быть готовой поддержать Броню, которая уехала вместе с Марией Раковской в Парнж и живет в Латинском квартале очень бедно. Кроме того, близится отставка самого Складовского. Скоро и старику понадобятся помощь. Как тут быть?

Маня недолго находится в раздумье. Неделя две-три назад ей предлагали хорошо оплачиваемое место в отъезд. Она принимает его. Это скачок в неизвестность. Придется на долгие годы покинуть близких, дорогих людей, жить в полном одиночестве. Но что поделаешь! Жалованье там больше, а тратить деньги в этой затерянной глуши не на что.

— Я так люблю жить на свежем воздухе! — утешает себя Маня. — Как это я не подумала об этом раньше?

О принятом решении она сообщает своей двоюродной сестре Хейрике:

«Я буду надолго лишена свободы, так как решила, после некоторых колебаний, взять место в Плоцкой губернии с оплатой пятьсот рублей в год, начиная с первого января. То самое место, которое мне предлагали не так давно и которое я упустила. Хозяева недовольны теперешней гувернанткой и хотя и хотят меня. Впрочем, весьма возможно, что я им не понравлюсь точно так же, как и прежняя...»

Первое января 1886 года, угрюмое морозное утро, день отъезда — одна из тяжких дат в жизни Мани. Она бодро прощается с отцом, еще раз записывает ему свой адрес: *Марии Складовской. Господину и госпоже Э. В. Шуки через Пшасныш.*

Маня садится в вагон. Еще одну минуту она видит отца, успевает ему улыбнуться. И затем сразу обрушивается неведомый гнет одиночества. Одна, первый раз в жизни совсем одна!

Внезапный страх охватывает этого восемнадцатилетнего ребенка. Сидя в поезде, мчавшем ее к какому-то чужому дому, Маня трепещет от робости и страха. Что будет, если новые хозяева окажутся похожими на предыдущих? А вдруг старик Складовский заболеет в ее отсутствие?

Десятки мучительных вопросов осаждают девушку, в то время, как, пристроившись у вагонного окошка, она смотрит при свете угасающего дня на сонные снежные долины и утирает кулачком набегающие слезы.

Три часа в вагоне, а затем еще четыре на лошадях. Муж и жена З. управляют имениями князей Чарторыйских и сами арендуют часть их владений в ста километрах к северу от Варшавы. Подъехав к дверям дома в морозной темноте, разбитая усталостью, Маня, как сквозь сон, видит высокую фигуру хозяина, бесцветное лицо его жены и устремленный на нее настойчивый взгляд детей, сгорающих от любопытства. Гувернантку встречают любезными словами и горячим чаем.

Хозяйка дома ведет Маню на второй этаж, в отведенную ей комнату, и, побеседовав несколько минут, оставляет девушку одну в обществе ее жалких чемоданов.

3 февраля 1886 года Маня пишет Хенрике:

«Вот уже месяц, как я живу у З. Время достаточное, чтобы привыкнуть к новому месту. З. — отличные люди. Со старшей дочерью, Бронкой, у меня завязались дружеские отношения, которые способствуют приятности моей здешней жизни. Что касается моей ученицы Андзи, которой исполнится скоро десять лет, то это ребенок послушный, но избалованный и избалованный. Но, в конце концов, нельзя же требовать совершенства!

В этой местности все бездельничает, думают только об удовольствиях, а так как семья З. держится несколько в стороне от этих хороводников, то является «притчей во языцех». Представь себе, что через неделю после моего прибытия обо мне говорили уже неодобрительно, и только потому, что я, еще не зная никого, отказалась ехать на бал в Карвач, центр всех здешних сплетен. Мне не пришлось жалеть об этом, так как мои хозяева вернулись с бала лишь в час дня; я была рада, что избежала такого испытания, да еще в то время, когда я чувствую себя далеко не совсем здоровой.

В рождественский сочельник состоялся у нас бал. Я очень развлекалась, наблюдая за гостями, достойными карандаша какого-нибудь карикатуриста.

Молодежь весьма не интересна: барышни — бессловесные цусыни, открывают рот только тогда, когда с громадными усилиями их вынуждают говорить. По-видимому, бывают и другие, более умные и развитые. Но покамест Бронка (дочь моих хозяев) представляется мне редкой жемчужиной и по своему здравому уму, и по своим взглядам на жизнь.

Я занята семь часов в день: четыре часа с Андзей, три с

Бронкой. Немножко много, но что поделаешь! Комната моя наверху, большая, тихая, приятная. Детей у Э. целая куча: три сына в Варшаве (один в университете, два в пансионе); дома — Бронка (18 лет), Андзя (10 лет), трехлетний Стась и Марицка — малютка шести месяцев. Стась очень забавный. Няня сказала ему, что бог — везде; Стась с выражением некоторой тревоги на лице спрашивает: «А он меня не схватит? Не укусит?» Вообще, он потешает нас неимоверно!»

Маня прерывает свое писание, кладет перо на письменный стол, придвинутый к самому окну, и, не боясь холода, выходит на балкон. Вид, открывающийся с балкона, еще способен вызывать у нее смех! Разве не смешно, когда ты, отправляясь в одинокую усадьбу, воображаешь себе деревенский пейзаж: луга, леса, — а вместо этого, открыв впервые свое окно, видишь высокую фабричную трубу, которая лезет тебе в глаза и заволакивает небо грязной сажой, изрыгая черный столб дыма?

Кругом, на несколько километров, — ни лесочка, ни лужочка; везде — свекла и свекла, только однообразные свекловичные поля. Осенью вся эта бледная, землистая свекловица грузится на телеги, запряженные волами, и тихим ходом доставляется на сахарный завод. Только для этого завода работают крестьяне: сеют, полют и копают свеклу. Только вокруг этих тоскливых кирпичных красивых зданий жмутся хаты маленькой деревни Красиничи. Даже река становится рабой завода, бежит к нему прозрачными струями, а от него уходит грязной, покрытой какой-то мутной, липкой пеной.

Сам господин Э., известный агроном, знаком с новой техникой. Господин Э. владеет большей частью акций этого завода. В доме Э., как и в других домах, главным предметом забот и разговоров является завод.

Ни в чем нет малейшего признака чего-нибудь величественного! Даже завод, при всем своем размере, — предприятие посредственное, таких, как он, в уезде целые десятки. Само поместье Щуки небольшое: всего двести гектаров — для этих мест пустяк. Семейство Э. богато, но не очень. Их дом по виду и укладу, конечно, лучше соседних ферм, однако же, при всем желании, его не назовешь замком. Вернее говоря, это старомодная дача, вроде большого барака с двускатной крышей, нависшей над тускло-белыми оштукатуренными стенами, с беседками из дикого винограда и сплошь застекленными верандами, где гуляют сквоньяки.

Есть только одна уступка красоте: небольшой парк перед домом, летом, по-видимому, очень милый благодаря лужайкам, кустарнику и площадке для крокета, огражденной ровной под-

стриженными ясениями. По другую сторону, за домом, разбит фруктовый сад. За ним виднеются четыре красные крыши над амбаром, конюшнями на сорок лошадей и скотными дворами на шестьдесят коров. А дальше до самого горизонта тянутся глинистые свекловичные поля.

«Ну что ж! Я устроилась не так уж плохо! — думает Маня, затворяя окно. — Завод, конечно, не красив. Но благодаря ему эта провинциальная дыра немного оживленнее других. Все время люди то приезжают из Варшавы, то уезжают. На самом заводе есть небольшой кружок из инженеров, управляющих — людей не неприятных. Там можно брать на прочтение журналы, книги. У госпожи З. характер скверный, но женщина она не злая. Если она обращается с гувернанткой, то есть со мной, не всегда деликатно, то происходит это, несомненно, потому, что она сама — бывшая гувернантка, которой слишком рано повезло в жизни. Муж ее — очаровательный мужчина, старшая дочь — просто ангел, а остальные дети сносы. Я должна чувствовать себя счастливой!»

Согрев руки у громадной печки, занимающей целый простенок от потолка до пола, Маня опять садится писать письма, пока повелительный зов снизу: «Панна Мария!» — не возвестит сквозь дверь, что гувернантка южна своим хозяевам.

Маленькая одинокая девушка пишет много писем, хотя бы для того, чтобы получать ответы и узнавать варшавские новости. По мере того как вялой чередой проходят недели, месяцы, Маня рассказывает близким о своей жизни, жизни наемницы, которой приходится и выполнять свои скромные обязанности, и «бывать в обществе», и принимать участие в неизбежных развлечениях.

Она пишет своему отцу, дорогой Броне, и Юзефу, и Эле. Пишет своей гимназической подруге Казе Пржиборовской, кузине Хенрике, вышедшей замуж во Львове и живущей в деревне нелюдимой «позитивисткой», поверяет ей самые значительные мысли, свои огорчения и надежды.

В письме от 5 апреля 1886 года Маня сообщает Хенрике:

«Я живу так, как обычно живут люди в моем положении. Даю уроки, немного читаю, но и это не всегда возможно, так как прибытие новых гостей все время нарушает нормальный распорядок жизни. Иногда это сильно раздражает меня, потому что Андзя принадлежит к числу тех детей, которые с восторгом пользуются любым поводом оторваться от занятий, и тогда ее уже ничем не образумишь. Сегодня мы с ней опять повздорили из-за того, что ей не захотелось вставать с постели в

обычный час. В конце концов мне пришлось взять ее за руки и стащить с кровати; я это сделала спокойно, но внутри меня все кипело. Ты не можешь себе представить, чего мне стоят такие мелочи: от одной нелепости, как эта, я делаюсь больной на несколько часов. Но я должна была настоять на своем!..

Какие разговоры в обществе? Сплетни, сплетни и еще раз сплетни. Темы обсуждений: соседи, балы, вечеринки и т. п. Если взять танцевальное искусство, то лучших танцовщиц, чем здешние девушки, еще придется поискать, и где-нибудь не далеко. Они танцуют в совершенстве. Впрочем, они не плохи и как люди, есть даже умные, но воспитание не развивало их умственных способностей, а здешние бессмысленные и беспрестанные увеселения рассеяли и данный от природы ум. Что же касается молодых людей, то среди них немного милых, а еще меньше умных. Для них и для девушек такие слова, как «позитивизм», «рабочий вопрос» и тому подобное, кажутся чем-то ужасным, да и то, если предположить, о виде исключений, что кто-нибудь из них слышал их раньше. Семейство З. по сравнению с другими можно назвать культурным. Сам З.—человек старомодный, но умный, симпатичный, здравомыслящий. Его супруга — женщина неуживчивая, но, если уметь к ней подойти, она бывает милой. Меня, мне думается, она любит.

Если бы ты видела, до какой степени я веду себя примerno! Каждое воскресенье и каждый праздник хожу в костел, ни разу не сославшись на простуду или головную боль, чтобы остаться дома. Никогда не говорю о высшем образовании для женщин. Вообще в своих высказываниях соблюдаю сдержанность, требуемую тем положением, какое я занимаю в доме.

В пасхальные каникулы приеду на несколько дней в Варшаву. При одной мысли об этом вся моя душа трепещет от радости, и я с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать от счастья».

* * *

Маяня напрасно пишет иронически о своем «примерном поведении». Такая смелая и своеобразная личность, как она, не может долго вести такой образ жизни. «Позитивная идеалистка» в ней остается неизменной, ей хочется теперь же быть полезной и начать борьбу.

Каждый день на грязных дорогах ей попадаются крестьянские девочки и мальчики, бедно одетые, с озорным выражением лица под шапкою волос цвета пакли, и вот у Майни зарождается план действий. Почему бы ей не осуществить, хотя бы в Щуках, в этом малюсеньком мирке, свои передовые заветные

мечты? В прошлом году она мечтала «просвещать народ». Какой прекрасный случай! В здешней деревне большинство ребят неграмотны. Тех же немногих, что ходят в школу, учат русской грамоте. Как было бы хорошо организовать для них тайные уроки польской грамоты, раскрыть юным умам красоту родного языка, родной истории!

Маня делится этой мыслью со своей старшей ученицей; Бронка тут же соглашается и обещает помогать.

Желая умерить ее пыл, Маня говорит:

— Обдумайте это хорошенько. Если донесут на нас, то нам грозит Сибирь.

Но ничто так не заразительно, как храбрость; взгляд Бронки выражает пылкую готовность и решимость. Остается получить согласие главы семейства и приступить к делу.

Маня — Хеирике, 3 августа 1886 года:

«На лето я могла бы получить отпуск, но не знала, куда ехать, поэтому осталась в Щуках. Мне не хотелось тратить деньги на поездку в Карпаты. У меня много часов занимают уроки с Андзэй, чтение с Бронкой, ежедневно занимаюсь по часу с сыном здешнего рабочего, подготавливая его в школу. Кроме того, мы с Бронкой по два часа в день даем уроки крестьянским детям. У нас десять учеников, своего рода маленький класс. Учатся с большой охотой, а все-таки нам временами бывает трудно. Утешает меня то, что наши достижения мало-помалу растут, и даже очень быстро. Таким образом, дни у меня достаточно заполнены, а сверх того немного занимаюсь и собственным образованием.»

В декабре 1886 года Маня пишет Хеирике:

«Число моих учеников доходит до восемнадцати. Само собою разумеется, они приходят не все вместе, иначе я не могла бы справиться, но даже и при таком порядке у меня уходит на занятия два часа в день. По средам и субботам я занимаюсь с ними дольше — часов пять без перерыва. Это возможно только потому, что моя комната на втором этаже имеет отдельный ход на черную лестницу во двор, а поскольку эта работа не мешает мне выполнять мои обязанности по отношению к хозяевам, то она никого не беспокоит. Много радости и утешения дают мне эти ребятишки...»

Таким образом, Мане недостаточно спрашивать уроки у Андзи, усаживать за чтение Бронку и не давать засыпать над учебниками Юлику, который приехал из Варшавы и поручен

Мане. Покончив с официальными обязанностями, мужественная девушка входит в свою комнату и ждет, когда на лестнице раздастся топот башмачков и шлепанье босых ножек по ступенькам, извещающие Марию о приходе ее учеников. Мария добыла простой сосновый стол и стулья. На свои деньги купила тоненькие тетрадки и ручки, такие непослушные в заочечелых пальчиках. Когда в большой, просто побеленной комнате набралось семь-восемь ребятишек, то присутствие обеих учительниц — Мари и Бронки — оказывалось далеко не лишним, чтобы поддерживать порядок и выручать из отчаянного положения тех учеников, которые, пытаясь и тяжело вздыхая, не могли разобрать какое-нибудь трудное слово.

Эти сыновья и дочери прислуги, заводских рабочих, арендаторов не все опрятны и чисто вымыты. Некоторые невинмательны, упрямы. Но в глазах большинства светится наивное и страстное желание совершить невероятный подвиг — одолеть грамоту. И когда эта скромная цель достигнута, когда черные буквы на белой бумаге вдруг приобретают определенный смысл и деревенские ребята самодовольно торжествуют, а их неграмотные родители, которые иногда бывают на уроках, приходят в состояние восторженного изумления, — у Мари сердце сжимается от боли.

Она думает об этой неудовлетворяемой жажде знания, о дарованиях, которые, может быть, таятся в этих неотесанных созданиях, и чувствует себя такой слабой, такой беспомощной перед бездной невежества.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Деревенские ребята и не подозревают, что паниа Мария мрачно размышляет о собственном невежестве, что мечта их учительницы не учить, а самой учиться.

И когда Мария, глядя в окно, видит все те же неизменные телеги, везущие к заводу сусла, ей тяжело думать, что в это время тысячи молодых людей в Берлине, Вене, Петербурге, Лондоне слушают лекции, доклады, работают в лабораториях, музеях и больницах! Еще тяжелее думать, что в знаменитой Сорбонне преподают биологию, математику, социологию, химию и физику!

Ни в одну страну так не влечет Марию Скловскую, как во Францию. Добрая слава Франции ослепляет ее своим блеском. В Берлине, в Петербурге царят угнетатели Польши. Во Франции любят свободу, уважают все чувства, все мнения, там принимают несчастных и преследуемых, откуда бы они ни

появились. Возможно ли, что наконец и Маня сядет в поезд на Париж, неужели судьба дарует ей такое счастье?

Маня уже не надеется на это. Двенадцать первых месяцев в душной провинции подточили бывшие надежды юной девушки, тем более что при всей страстности ее ума и склонности к мечтам она чужда всяким химерам. Подводя итог, Маня ясно видит создавшееся положение, по всей видимости — безвыходное.

В Варшаве у нее отец, который очень скоро будет нуждаться в ее помощи. В Париже — Броня, которую надо поддерживать еще несколько лет, прежде чем она заработает хоть одну копейку. А сама Мария Склодовская — гувернантка в поместье Щуки. Прежний план — скопить необходимый капитал — казавшийся осуществимым, теперь вызывает у нее улыбку. План оказался по-детски наивным. Из таких мест, как Щуки, бежать трудно! Но девушка с отчаянным упорством сопротивляется самопогребению. Какой могучий инстинкт заставляет Манию садиться за свой рабочий стол, брать из заводской библиотеки и читать книги по социологии и физике, расширять свои познания в математике путем частой переписки с отцом!

Все это кажется окружающим настолько бесполезным, что Манина настойчивость вызывает удивление. Заброшенная в деревенскую усадьбу Маня осталась без руководства и советов. Почти ошупью она блуждает в лабиринте тех познаний, которые ей хочется приобрести, но устаревшие учебники дают их только в общей форме.

Временами она чувствует полный упадок духа, и в эти минуты напоминает собой некоторых своих деревенских учеников, когда они, отчаявшись постигнуть грамоту, вдруг с яростью отшвыривают азбуку. Но Маня с крестьянским же упорством продолжает свою работу.

Спустя сорок лет она напишет:

«Литература меня интересовала в такой же степени, как социология и точные науки. Но за эти несколько лет работы, когда пыталась я определить свои действительные склонности, в конце концов я избрала математику и физику.

Мои самостоятельные занятия сопровождались многими досадными затруднениями. Образование, полученное мной в гимназии, оказалось крайне недостаточным — гораздо ниже знаний, требуемых во Франции для получения степени бакалавра. Я попыталась их восполнить из книг, взятых наудачу. Такой способ был малопродуктивен. Тем не менее я привыкла самостоятельно работать и накопила некоторый объем знаний, которые впоследствии мне пригодились...»

Вот как описывает Маня Хенрике в письме из Цук свой рабочий день в декабре 1886 года:

«При всех моих обязанностях у меня бывают дни, когда я занят все время с восьми утра до половины двенадцатого, а затем с двух до половины восьмого. В перерыве — с половины двенадцатого до двух — прогулка и завтрак. После чая мы с Андзей читаем, если оно в благозвучном настроении, если же нет, то болтаем или я принимаюсь за рукоделие, впрочем, я с ним не расстаюсь и на уроках. С девяти вечера я погружаюсь в свои книги и роботу, если, конечно, не помешает какое-нибудь непредвиденное обстоятельство.

Я приучило себя вставать в шесть утра, чтобы работать для себя больше, но это не всегда мне удается. В настоящее время здесь гостит очень милый старичок, крестный отец Андзи, и для развлечения его я должна была, по просьбе пани З., уговорить его, чтоб он учил меня играть в шахматы. Приходится бывать четвертым партнером и в короточной игре, а все это отрывает меня от книг.

В донное время я читаю: 1) физику Даниэля, 2) социологию Спенсера во французском переводе, 3) курс анатомии и физиологии Поля Бера в русском переводе.

Я читаю сразу несколько книг: последовательное изучение какого-нибудь одного предмета может утомить мой мозг, уже достаточно перегруженный. Когда я чувствую себя совершенно неспособной читать книгу плодотворно, я начинаю решать алгебраические и тригонометрические задачи, так как они не терпят невнимания и мобилизуют ум.

Бедняжка Броня пишет, что у нее какие-то затруднения с экзаменами, что оно много работает, а состояние ее здоровья внушает опосение.

Каковы мои планы на будущее? Их нет, или, точнее, они есть, но до такой степени незатейливы и просты, что и говорить о них нет смысла: выпутаться из создавшегося положения, насколько я смогу, а если не смогу, то проститься со здешним миром — потеря невелика, а сожолеть обо мне будут так же недолго, как и о других людях.

В настоящее время никаких иных перспектив у меня нет. Кто-то высказывает мысль, что, несмотря на все, мне надо переболеть той лихорадкой, которую зовут любовью. Но это совсем не входит в мои планы. Если когда-то у меня и были другие планы, то я их погребла, замкнуло, запечатало и позабыло — тебе хорошо известно, что стены всегда оказываются крепче лбов, которые пытаются пробить их...»

Эти смутные мысли о самоубийстве, эта разочарованная, скептическая фраза о любви требуют разъяснений.

Разъяснение само по себе простое, очень тривиальное. Его можно назвать «Роман бедной молодой девушки»*. Во многих сентиментальных произведениях описываются подобные ситуации.

Все началось с того, что Маня Скловская похорошела. В ней еще нет той одухотворенности, которая обнаружится на ее фотографиях несколько позже. Но прежняя толстощекая юница превратилась в грациозную девушку. Восхитительные волосы и кожа. Тонкие щиколотки и красивые запястья. Правда, лицо ее не отличается правильностью черт и далеко от совершенства, но обращает на себя внимание волшебным складом рта и глубоко посаженными пепельно-серыми глазами, которые все же кажутся большими благодаря поразительной силе взгляда.

Когда старший сын З. Казимеж вернулся из Варшавы в Щуки, чтобы провести праздничные дни, а затем и летние каникулы в родном доме, он там застал молодую гувернантку, умевшую отлично танцевать, грести, бегать на коньках, умную, хорошо воспитанную, способную сочинять стихи так же хорошо, как править экипажем и ездить верхом, — словом, таинственную и совершенно не похожую ни на одну из знакомых ему барышень. И он влюбился в эту гувернантку. А под ее революционными доктринами таилось уязвимое сердце, и Маня тоже увлеклась очень красивым, очень милым студентом.

Ей не исполнилось еще девятнадцать. Он чуть постарше. И они стали думать о брачных узах.

Ничто, казалось, не препятствовало их браку. Правда, Маня была в Щуках только «панной Марией» — наставницей хозяйских детей, но она пользовалась всеобщим расположением: сам З. совершает с ней долгие прогулки по полям; пани З. благоволят к ней; Бронка обожает. И муж и жена оказывают ей особые знаки внимания. Несколько раз посылали приглашения погостить у них ее отцу, брату, сестрам. В день Маниного рождения преподнесли ей подарки и цветы.

Поэтому Казимеж З., не опасаясь, с уверенностью в благоприятном исходе дела спросил родителей, одобряют ли они его сватовство.

* По аналогии с модным тогда романом французского писателя Октава Фёйе «Роман бедного молодого человека». — *Прим. пер.*

Ответ последовал немедленно. Отец вышел из себя, мать чуть не упала в обморок. Как? Их любимый сын готов жениться на особе, не имеющей за душой ни гроша, вынужденной искать места «в людях»? Молодой человек, который может хоть завтра жениться на самой знатной, самой богатой девушке во всей округе! В своем ли он уме?

И там, где так старались показать, что считают Маню другом дома, в одну минуту возникают непреодолимые общественные перегородки. То обстоятельство, что девушка из хорошей семьи, блестяще образованна, морально безупречна, — все это ничто в сравнении с короткой фразой: «Брать в жены гугиантку неприлично».

Под действием уговоров, резкой отповеди и головомойки решительные намерения студента тают. У него слабый характер. Его пугают упреки и гнев родителей. А Маня, уязвленная пренебрежением со стороны людей, не стоящих ее, замыкается в неловкой холодности и нарочитой молчаливости. Она решила твердо, раз и навсегда, выбросить из головы мысль о личном счастье.

Но любовь имеет одно общее свойство с честолюбием: одного желания избавиться от них недостаточно.

* * *

Простой выход из положения — расстаться с семьей З. оказался для Мани невозможным. Она боялась встревожить отца. А главное, не могла себе позволить роскошь — бросить очень выгодное место. Прошло время, и от накоплений Броня остались одни воспоминания. Теперь обучение старшей сестры на медицинском факультете оплачивали Маня и отец. Каждый месяц посылает Маня своей сестре пятнадцать рублей, а иногда и двадцать — почти половину своего месячного заработка. А где найти такое же вознаграждение? В конце концов между нею и семьей З. не произошло ни прямого объяснения, ни тягостного столкновения. Было разумнее молча испить чашу унижения и остаться в Щуках, как будто ничего не произошло.

Жизнь опять течет все так же, как и раньше. Маня по-прежнему дает уроки, бранит Андзю, встряхивает Юлика, который засыпает от всякой умственной работы. Продолжает занятия с крестьянскими детьми. Как и раньше, она сидит над книгами по химии, сама удивляясь своей настойчивости. Играет в шахматы, ездит на балы и гуляет на чистом воздухе.

Впоследствии она записывает:

«Зимой эти широкие равнины, когда их покрывает снег, не лишены очарования, и мы совершали далекие прогулки на

саях. Бывало так, что мы с трудом разбирались, где дорога.

— Не сбейтесь с проторенного пути! — кричу я вознице. Он отвечает: «Едем в самый раз» или «Не бойсь!» — и... перекувыркиваемся. Но от таких происшествий становилось только еще веселее.

Помню также хорошо, как в тот год, когда выпал очень глубокий снег, мы построили из снега чудесную хижину. В ней мы могли сидеть и любоваться огромной, чуть розоватой белой лавью».

Неудачная любовь, обманутые надежды на высшее образование, постоянная нужда в деньгах — все эти испытания вызывают у Маня стремление забыть о собственной судьбе, и ее мысли обращаются к семье. Не для того, чтобы пожаловаться на горечь своих чувств. Ее письма полны добрых советов и предложений. Ей хочется, чтобы ее близкие жили как можно лучше.

В письме 1886 года она пишет своему отцу:

«Раз и навсегда пусть милый папа бросит оторчаться тем, что не может помочь нам. Недопустимо, чтобы наш отец жертвовал для нас еще чем-нибудь сверх того, что он уже дал нам. Мы получили хорошее воспитание, прекрасное образование и неплохой характер. Таким образом, пусть папа не унывает: мы не пропадем. С моей стороны, я буду навек признательна своему горячо любимому отцу за то, что он сделал для меня, а сделал он неизмеримо много. Только одно меня оторчает — что мы не в состоянии ответить ему тем же. Мы можем лишь любить и почитать его, насколько это в человеческих силах...»

В письме от 9 марта 1887 года Маня пишет Юзефу:

«Мне думается, что, заняв несколько сот рублей, ты сможешь остаться в Варшаве, а не хоронить себя в провинции. Прежде всего, одно условие, милый братик, — не сердись, если я напишу в этом письме какую-нибудь глупость: вспомни наш уговор — я буду говорить тебе чистосердечно все, что думаю.

Видишь ли, милый брат, в чем дело, все сходится на том, что врачебная практика в каком-нибудь захудалом городишке помешает твоему дальнейшему культурному росту и не даст возможности заняться научными исследованиями. Похоронив себя в провинциальной дыре, ты похоронишь и свою будущность. Без хорошей аптеки, больницы и книг ты опустишься, несмотря на лучшие намерения. Если это случится, я буду

страдать невыразимо, так как сама я потеряла всякую надежду стать кем-нибудь, и все мое честолюбие переключилось на тебя и на Броню. Пусть хоть вы двое направите свою жизнь согласно вашим стремлениям. Пусть дарования, несомненно присущие нашей семье, не пропадут зря, а проложат себе путь через кого-нибудь из вас. Чем сильнее горюю о себе самой, тем больше надеюсь на вас...

Ты, может быть, пожмешь плечами и посмеешься надо мной за это наставление. Мне необычно ни говорить, ни писать тебе в подобном тоне. Но мой совет идет из глубины моей души, я думаю об этом уже давно — с тех пор, как ты поступил на медицинский факультет.

Думаю и о том, как будет папа рад, если ты останешься около него! Тебя он любит больше всех нас! Представь себе положение, что станет с отцом, совершенно одиноким, если Эля выйдет замуж за Д., а ты уедешь из Варшавы. Он будет тосковать ужасно. А так, как предлагаю я, вы проживете вместе, и все будет превосходно! Однако же, соблюдая экономию, не забудьте оставить и для нас свободный уголок на случай нашего возвращения домой».

4 апреля 1887 года Маня пишет Хенрике (которая недавно родила мертвого ребенка):

«Как должна страдать мать, выдержав столько испытаний и все — понапрасну! Если бы можно было уверенно сказать себе с христианским смирением: «Такова воля божия, да будет воля его!» — это до некоторой степени облегчило бы страшное горе. Увы, такое утешение дано не всем. Я понимаю, что верующие люди по-своему счастливы. Но, странное дело, чем охотнее я признаю их преимущество, тем труднее мне самой проникнуться их верой, тем менее оказываюсь я способной понимать их счастье.

Прости мне эти философские рассуждения; их мне внушили твои жалобы на отсталые, консервативные убеждения в том городе, где ты живешь. Не суди их очень строго, так как политические и социальные традиции имеют своим источником традицию религиозную, и она благо, но для нас уже потерявшее свой смысл. Что касается меня, то никогда я не позволю себе намеренно разрушать в ком-нибудь веру. Пусть каждый верует по-своему — лишь бы искренне. Меня возмущает только ханжество, а оно распространено очень широко, тогда как истинную веру находишь очень редко. Ханжество я ненавижу. Но искренние религиозные чувства я уважаю, даже когда они сопряжены с духовной ограниченностью».

Маня — Юзефу, 20 мая 1887 года:

«Мне еще не известно, будет ли моя ученица Андзя держать экзамен, но я заранее беспокоюсь. Ее внимание и память так ненадежны! То же самое и с Юликом. Учить их все равно, что строить на песке: усвоив что-нибудь сегодня, они сейчас же забывают то, чему их учили накануне. Временами это становится какой-то пыткой. Я очень боюсь за самое себя: мне кажется, что я ужасно оступела — время бежит так быстро, а я не чувствую заметного продвижения вперед. Из-за обеден в богородицьины правдники мне пришлось прервать даже уроки деревенским детям.

А между тем для моего спокойствия надо не так уж много: мне бы хотелось только одного — чувствовать, что я приношу пользу...»

Несколько дальше по поводу несостоявшегося брака Эли Маня пишет:

«Представляю себе, как должно страдать самолюбие Эли. Нечего сказать, хорошенькое мнение составляешь себе о людях! Если они не желают жениться на бедных девушках, пусть идут к черту! Никто не требует от них женитьбы. Но к чему вдовбавок оскорблять, зачем смущать покой невинной девушки?»

...Как бы хотелось узнать что-нибудь утешительное, по крайней мере о тебе! Я часто задаю себе вопрос, как идут твои дела, не сожалеешь ли о том, что остался в Варшаве. Собственно говоря, мне не следовало бы расстраиваться из-за этого, так как ты наверняка устроишься: я твердо верю в это. С «бабами» всегда больше неприятностей, но, даже относительно себя, я все-таки надеюсь, что не исчезну совсем бесследно в небытии...»

10 декабря 1887 года Маня пишет Хенрике:

«Не верь слухам о моем замужестве — они лишены основания. Такая сплетня распространилась по всей округе и дошла даже до Варшавы. Хотя я в этом невинна, но не люблю всяких неприятных разговоров.

Мои планы на будущее самые скромные: мечтаю иметь свой угол и жить там вместе с папой. Бедняжка папа очень нуждается во мне, ему хотелось бы видеть меня дома, и он скучает без меня. Я же отдала бы половину жизни за то, чтобы вернуть себе независимость и иметь свой угол.

Как только представится возможность, я расстанусь со *Шуками*, что, впрочем, может произойти лишь через некоторое время; тогда я обоснуюсь в *Варшаве*, возьму место учительницы в каком-нибудь пансионе, а дополнительные средства буду зарабатывать частными уроками. Вот все, чего желаю. Жизнь не стоит того, чтобы так много заботиться о ней.

24 января 1888 года Маня пишет Броне:

«Я потрясена романом Ожешко «Над Неманом». Эта книга преследует меня, я не нахожу себе места. В ней все наши мечты, все страстные беседы, от которых пылали наши щеки. Я плакала так, как плакала в три года. Отчего, отчего рассеялись эти мечты? Я льстила себя надеждой трудиться для народа, вместе с ним, и что же? Я еле-еле научила читать какой-нибудь десяток деревенских ребятишек. А пробудить в них сознание самих себя, их роли в обществе, об этом не может быть и речи. Ах, боже мой! Как это тяжело... Я чувствую себя такой ничтожной, такой никчемной. И когда вдруг нечто совершенно неожиданное, как чтение этого романа, вырывает меня из удушливого существования, я так страдаю».

Маня — Юзефу, 18 марта 1888 года:

«Милый Юзик, наклеиваю на это письмо последнюю оставшуюся у меня марку, а так как у меня нет буквально ни копейки (да, ни одной!), то, вероятно, я вам не напишу до пасхальных праздников, разве что какая-нибудь марка случайно попадет мне в руки.

Цель моего письма — поздравить тебя с днем ангела, но если я опоздала, то поверь, что это вызвано только отсутствием у меня денег и марок, а просить их у других я еще не научилась.

Милый мой Юзик, если бы ты только знал, как я мечтаю, как мне хочется приехать на несколько дней в *Варшаву*! Я уже не говорю о моих совершенно износившихся и требующих поправки платьях... Но износилась и моя душа. Ах, только бы избавиться на несколько дней от этой холодной, замораживающей атмосферы, от критики, от необходимости все время следить за тем, что говоришь, за выражением своего лица и за своими жестами; мне нужен этот отдых, как купание в знойный день. Да есть много и других причин желать перемены моего местопребывания.

Броня не пишет мне уже давно. Наверно, и у нее нет марки. Если ты можешь пожертвовать одной маркой для меня, то напиши, пожалуйста. Только пиши подробно и обстоятельно обо всем, что делается у нас в доме, а то в письмах папы и Эли

одни жалобы, и я спрашиваю себя, все ли действительно так плохо, я мучаюсь, и эти волнения за них присоединяются к моим моим здешним неприятностям, о которых я могла бы рассказать тебе, но не хочу. Если бы не мысль о Броне, я бы немедленно ушла от З., несмотря на такую хорошую оплату, и стала бы искать другого места...»

25 октября 1888 года Маня пишет своей подруге Казе, известившей о своей помолвке и пригласившей Маню приехать к ней на несколько дней:

«Все, что ты сообщишь мне о себе, не покажется мне ни лишним, ни смешным. Разве может твоя названная сестра не прийти к сердцу все, что касается тебя, и так, как если бы речь шла о ней самой?»

Что касается меня лично, я очень весела, но весьма часто под веселым смехом скрываю полное отсутствие веселья. Этому я научилась, как только поняла, что люди так же остро реагирующие на каждый пустяк, как и я, и неспособные изменить эту врожденную особенность, должны скрывать ее возможно больше. Ты думаешь, что это действует, чему-то помогает? Нисколько. Чаше всего живость моего характера берет верх, я увлекаюсь, и тогда, тогда говорю то, о чем приходится потом сожалеть, да и более горячо, чем следовало бы.

Мое письмо немножко горько, Казя. Что поделаешь? По твоим словам, ты провела самую счастливую неделю в своей жизни, а я за летние каникулы пережила несколько таких недель, каких тебе не знать вовек. Тяжелые бывали дни, и лишь одно смятает воспоминание о них — это то, что я вышла из положения с честью, с поднятой головой... (как видишь, я еще не отказалась от той манеры держать себя, которая возбуждала ненависть ко мне мадемуазель Мейер).

Ты скажешь, Казя, что я становлюсь сентиментальной. Не бойся, этого не произойдет, это не в моем характере, но за последнее время я стала очень нервной. Есть люди, весьма склонные к нервозности. Однако это не мешает мне явиться к вам веселой и свободной, как никогда. Сколько найдется нам рассказать друг другу! Я привезу замочки для наших уст, иначе мы будем ложиться спать только на рассвете! А утостит ли нас твоя мама, как раньше, сиропом и шоколадом-глассе?»

В октябре 1888 года Маня пишет Юзефу:

«С грустью смотрю на календарь: близится день, который потребует от меня пять марок, не считая почтовой бумаги. Значит, скоро я не смогу вам написать ни слова!

Представь себе, я занимаюсь химией по книге! Ты понимаешь, как мало толку от этого, но что же делать, раз у меня нет возможности заниматься практически и ставить опыты. Броня прислала мне из Парижа альбомчик, очень изящный».

Маня — Хенрике, 25 ноября 1888 года:

«У меня мрачное настроение из-за того, что каждый день дует ужасный западный ветер, сопровождаемый дождем, наводнениями и грязью. Сегодня небо милостивее, но ветер воев в трубах. Никаких признаков мороза, и коньки печально висят в шкафу. Тебе, конечно, непонятно, что в нашей провинциальной дыре мороз с его положительными следствиями имеет для нас не меньшее значение, чем спор между консерваторами и радикалами у вас в Галиции...

Не делай заключения из этого, что твои рассказы могут мне надоесть. Наоборот, мне доставляет истинное удовольствие знать, что существуют такие места, где люди движутся и даже мыслят. Ты-то живешь в центре движения, а моя жизнь похожа на существование какой-нибудь из тех улиток, которые часто попадают в загрязненных водах нашей реки. К счастью, у меня есть надежда скоро выбраться отсюда.

Когда мы свидимся, мне будет интересно узнать твое мнение: к худшему или к лучшему повлияли на меня эти годы, проведенные среди чужих людей. Все уверяют, что за время моего пребывания в Цуках я сильно изменилась физически и духовно. Это не удивительно. Когда я приехала сюда, мне только что исполнилось восемнадцать лет, а сколько я пережила! Бывали минуты, которые, наверно, так и останутся самыми тяжелыми в моей жизни. Я на все реагирую очень остро, болезненно, потом я встряхиваю себя, моя крепкая натура берет верх, и мне кажется, что я избавилась от какого-то кошмара... Основное правило: не давать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам.

Я считаю часы и дни, оставшиеся до праздников, до моего отъезда к родным. Жажда новых впечатлений, перемены, настоящей жизни, движения охватывает меня с такой силой, что я готова надеть величайших глупостей, лишь бы моя жизнь не осталась навсегда такой, как есть. На мое счастье, у меня столько работы, что эти приступы бывают у меня редко.

Это последний год моего пребывания здесь. И тем больше надо прилагать труда, чтобы экзамены у доверенных мне детей прошли благополучно...»

Прошло три года с того времени, как Мария стала гувернанткой. Три года однообразного существования, тяжелого труда, безденежья, редких радостей и частых огорчений. Но вот едва заметные толчки с разных сторон всколыхнули трагический застой в жизни девушки. Казалось бы, совсем незначительные события в Париже, Варшаве и в самих Цуках перетасовывают карты в той игре, от которой зависит и судьба Мани.

Старик Складовский, уйдя в отставку с казенной службы, стал искать доходного места. Ему хочется помочь дочерям. В апреле 1888 года он получает трудную и неблагодарную должность директора исправительного приюта для малолетних преступников. Дух заведения, все окружение неприятны. Но здесь сравнительно высокое жалование, благодаря которому этот прекрасный человек может ежемесячно посылать Броню все деньги, необходимые для продолжения ее учения.

Броня сообщает об этом прежде всего Мани и просит не высылать ей больше денег. Во-вторых, Броня просит отца удерживать из сорока рублей, определенных ей, восемь, чтобы мало-помалу возместить полученное от младшей сестры. С этого времени капитал Мани, равнявшийся нулю, начинает возрастать.

В письмах парижской студентки есть и другие новости. Она работает. С успехом держит экзамены и влюблена! Влюблена в поляка Казимежа Длусского, товарища по медицинскому факультету, замечательного по своему обаянию и душевным качествам; одно портит дело: ему запрещен въезд в Польшу под страхом высылки на поселение.

В 1889 году наступает конец пребыванию Мани в Цуках. После праздника Иоанна Богослова она будет не нужна семейству З. Надо искать другое место. Она уже имеет на примете место гувернантки в семействе Ф., крупных заводчиков, живущих в Варшаве. Наконец-то наступит перемена, перемена, которой так сильно желала Маня!

13 марта 1889 года Маня пишет Казе:

«Через пять недель настанет пасха. Очень важная для меня дата, потому что к этому времени решится моя участь. Кроме места у Ф. мне предлагают и другое. Я колеблюсь в выборе и не знаю, как поступить... Думаю только о пасхе. Голова пылает от всяческих проектов. Не знаю, что со мной будет! Твоя Маня останется до конца жизни зажженной спичкой на куче хвороста...»

Прощайте, Щуки и свекловичные поля! Милые улыбки с той и с другой стороны, пожалуй, чрезмерно мнлые, и Мария Складовская расстается с семейством З. Свободной она возвращается в Варшаву и с наслаждением вдыхает воздух родного города... Но вот она снова в псезде. Маня едет на балтийский пляж, в курорт Сопот, где сейчас проводят время ее новые хозяева.

Из Сопота Маня пишет Казе, 14 июля 1889 года:

«Путешествие мое прошло благополучно, вопреки трагическим предчувствиям... Никто меня не обокрал, даже не пытался, и я не перепутала ни одной из пяти пересадок и съела все сардельки, не могла прикончить только булочки и карамельки.

В дороге нашлись доброжелательные покровители, которые мне помогли во всех моих заботах. Опасаясь, что в порыве своей любезности они съедят мои припасы, я не показывала им сарделек.

Муж и жена Ф. ждали меня на вокзале. Они очень милы, и я сразу привязалась к их детям. Значит, все будет хорошо, да это и необходимо!»

В «Шульц-отеле» этого летнего курорта, где, как пишет Маня, встречаешь все те же лица, где говорят только о тряпках и других вещах, таких же неинтересных, жизнь не очень привлекательна:

«Погода холодная, все сидят дома: пани Ф., ее муж и ее мать; и у всех такое настроение, что я охотно провалилась бы сквозь землю!..»

Но вскоре и родители, и дети, и гувернантка возвращаются в Варшаву.

Предстоящий год обещает быть сравнительно приятной передышкой в жизни Манн. Пани Ф. очень красива, эlegantна и богата. Носит дорогие меха и драгоценности. В ее платяных шкафах висят платья от Ворта; гостиную украшает портрет пани Ф. в вечернем туалете. За время своего пребывания у Ф. Маня знакомится с очаровательными безделушками, какие сама она никогда не будет иметь.

Первая и последняя встреча с роскошью! Встреча — ласковая благодаря расположению пани Ф., которая, будучи очарована «замечательной панной Складовской», поет ей хвалу и требует ее присутствия на всех приемах и балах...

Вдруг гром среди ясного неба: однажды утром почтальон приносит письмо из Парижа. В этом невзрачном письме, на чет-

вертушке писчей бумаги, написанном в университетской аудитории между двумя лекциями, благодарная Броня предлагает Мане пристанище на будущий учебный год у себя, в своей новой супружеской квартире!

Броня — Мане, март 1890 год:

«...Если все пойдет, как мы надеемся, я летом, наверно, выйду замуж. Мой жених уже получит звание врача, а мне придется лишь сдать последние экзамены. Мы останемся в Париже еще на год, за это время я сдам выпускной экзамен, а затем мы вернемся в Польшу. В нашем плане я не нахожу ничего неразумного. Скажи, разве я не права? Вспомни, что мне двадцать четыре года, — это неважно, но ему тридцать четыре, это уже важнее. Было бы нелепо ждать еще дольше!

...А теперь относительно тебя, Манюша: надо, чтобы наконец и ты как-то устроила свою жизнь. Если ты накопишь за этот год несколько сот рублей, то в следующем году сможешь приехать в Париж и остановиться у нас, где найдешь и кров, и стол. Несколько сот рублей совершенно необходимы, чтобы записаться на лекции в Сорбонне. Первый год ты проживешь с нами. На второй же и третий год, когда нас не будет в Париже, боюсь, что отец тебе поможет, хотя бы против был черт.

Тебе необходимо поступить именно так: слишком долго ты все откладываешь! Ручаюсь, что через два года ты будешь уже лицензиатом. Подумай об этом, копи деньги, прячь их в надежном месте и не давай взаймы. Может быть, лучше всего обратить их теперь же в франки, пока обменный курс рубля хорош, позже он может упасть...»

Казалось бы, Маня придет в восторг и ответит, что она вне себя от счастья и приедет. Ничего подобного! Годы изгнания развили в ней болезненную совестливость. Демон жертвенности делал ее способной сознательно отказаться от своей будущности. Так как она пообещала своему отцу жить вместе с ним, так как она хочет помогать сестре Эле и брату Юзефу, то решает не уезжать. Вот ее ответ на предложение Бронии.

Маня — Броня, 12 марта 1890 года (из Варшавы):

«Милая Броня, я была, есть и останусь душой до конца жизни, или, говоря современным языком, мне не везло, не везет и никогда не повезет.

Я мечтала о Париже, как об искуплении, но уже давно рассталась с надеждой туда поехать. И вот теперь, когда мне предлагается эта возможность, я уже не знаю, как мне быть... Говорить об этом с папой я боюсь: мне думается, что наш план — жить будущий год вместе — пришелся ему по душе; папа хочет этого, а мне хотелось бы дать ему на старости крупную сумму счастья. Но, с другой стороны, у меня разрывается сердце, когда подумаю о своих затупленных способностях, а ведь они чего-нибудь да стоят. К тому же я обещала Эле употребить все свои усилия, чтобы вернуть ее домой и найти ей какое-нибудь место в Варшаве. Ты не можешь представить, как мне больно за нее! Она всегда будет «меньшой» в нашей семье, и я сознаю свой долг опекать ее — бедняжка так нуждается в заботе!

Что до тебя, Броня, то прошу, займись со свойственной тебе энергией делами Юзефа и, если тебе кажется, что роль просительницы перед пани С. не в твоём духе, переломи себя. Ведь и в Евангелии сказано: «Стучитесь, и отворят вам». Даже если тебе придется немного поступиться самолюбием — что ж из этого? В просьбе от души нет ничего обидного. Как написала бы такое письмо я? Надо объяснить этой даме, что дело идет не о какой-нибудь крупной сумме, а лишь о нескольких сотнях рублей, чтобы Юзеф мог остаться в Варшаве, здесь учиться и проходить практику, что от этого зависит его будущее, а без такой помощи его отличные способности зачахнут... Все это, милая Бронечка, надо расписать подробно, а если ты попросишь просто одолжить денег, она не примет близко к сердцу судьбу Юзефа: таким способом не добьешься ничего. Даже если тебе покажется, что ты навязчива, разве это важно? Пусть будет так, лишь бы достичь цели! Кроме того, разве это такая большая просьба? Разве люди не бывают, и очень часто, более навязчивыми? С этой подмогой Юзеф может стать полезным обществу, а уехав в провинцию, погибнет.

Я надоедаю тебе с Элей, с Юзефом, с папой и с моим неудачным будущим. На душе моей так мрачно, так грустно, и я чувствую себя виновной в том, что своими разговорами обо всем этом отравляю твоё счастье. Из всех нас лишь одна ты нашла то, что называется удачей. Прости меня, но, видишь ли, меня огорчает столько всяких обстоятельств, что я не в состоянии закончить письмо весело.

Целую тебя нежно. В следующий раз напишу подробнее и веселее, но сегодня я чувствую себя особенно плохо в этом мире. Думай обо мне с чувством нежности, быть может, оно дойдет до меня сюда».

Броня настанывает, спорит. К несчастью, у нее нет решающего довода: она так бедна, что не может оплатить дорогу младшей сестре и посадить ее насильно в поезд. В конце концов было решено, что Маня выполнит свои обязательства перед пани Ф. и останется в Варшаве еще на год. Она будет жить с отцом и пополнит свои сбережения уроками. А затем она уедет...

Наконец-то Маня попадает в желанную атмосферу: собственная квартира, присутствие старого учителя Складовского, интересные разговоры, которые будят ум. «Вольный университет» вновь открывает перед ней свои таинственные двери. И радость, ни с чем не сравнимая, событие первостепенной важности: Маня впервые проникает в лабораторию!

Лаборатория помещалась в доме № 66 на улице Краковске пшесмесьце, где в глубине двора с клумбами лилий стоял маленький флигель с крошечными окнами. Здесь один родственник Маня управляет учреждением, носящим пышное название: «Музей промышленности и сельского хозяйства». Это нарочито расплывчатое и претенциозное наименование служит вывеской, предназначенной для властей. Музей не вызывает подозрений. А за его дверьми ничто не мешает давать научные знания юным полякам...

Впоследствии Марня Кюри писала:

«У меня было мало времени для работы в лаборатории. Я могла ходить туда главным образом по вечерам — после обеда или по воскресеньям — и оказывалась предоставленной самой себе. Я старалась воспроизводить опыты, указанные в руководствах по физике и химии, но результаты получались иногда неожиданные. Время от времени меня подбадривал, хотя и небольшой, но непредвиденный успех, в других же случаях я приходила в полное отчаяние из-за несчастных происшествий и неудач по причине моей неопытности. А в общем, постигнув на горьком опыте, что успех в этих областях науки дается не быстро и не легко, я развила в себе за время этих первых опытов любовь к экспериментальным исследованиям».

Поздно ночью, покинув с грустью электрометры, колбы, весы, Маня возвращается домой, раздевается и ложится на узенький диван. Но спать не может. Какое-то радостное воодушевление, совершенно отличное от всех знакомых ей восторгов, приводит ее в трепет и не дает спать. Настоящее призвание, так долго не проявлявшее себя, вдруг вспыхнуло и заставило повиноваться своему тайному велению. Девушка сразу делает-

ся возбужденной, словно одержимой чем-то. Когда она приходит в «Музей промышленности и сельского хозяйства» и берет своими красивыми руками за пробирки, магически оживают детские воспоминания о физических приборах ее отца, которые бездейственно стояли в витрине и вызывали у ребенка желание ими поиграть. Теперь она связала эту оборванную нить своей жизни.

Ночами она бывает лихорадочно возбуждена, а днем как будто спокойна. Маня скрывает от родных, что ей безумно не терпится уехать. Пусть в эти последние месяцы отец чувствует себя вполне счастливым. Она хлопочет о женитьбе своего брата, приискивает место для Эли. Может быть, и другая, более эгонистичная забота препятствует Мане точно установить время своего отъезда: ей кажется, что она еще любит Казимежа З. И, несмотря на властную тягу в Париж, она не без душевной боли представляет себе это самоизгнание на долгие годы.

В сентябре 1891 года, когда Маня отдыхает в Закопане среди Карпатских гор, где она должна была встретиться с Казимежом З., старик Складовский так излагает Броне положение вещей:

«Маня еще побудет в Закопане. Она вернется только числа 13-го, из-за кашля и гриппа, а, по заключению местного врача, это может затянуться на всю зиму, если она не избавится от них теперь же. Плутовка и сама виновата в своей болезни, так как всегда насмехается над всякими предосторожностями и не считает нужным одеваться соответственно погоде.

Она мне пишет, что находится в мрачном настроении; боюсь, что ее подтачивают озорчения и неопределенность положения. Мысли о своем будущем она пока скрывает, но поговорит со мной подробно только после возвращения домой. Празду говоря, я хорошо представляю себе, в чем тут дело, но не знаю, надо ли радоваться или тревожиться. Если мои предположения верны, то Маню ждут все те же озорчения со стороны все тех же лиц, которые и раньше их причиняли ей. Тем не менее, когда вопрос идет о том, чтобы создать себе жизнь по душе, и о счастье двух людей, то, может быть, и стоит преодолеть возникшие препятствия. Впрочем, я ничего не знаю!

Твое приглашение Мане приехать в Париж, свалившись ей на голову так неожиданно, возбуждало ее и привело в еще большее замешательство. Я чувствую, как сильно ее тянет к этому источнику знаний, и знаю, что она непрестанно думает о нем. Но для этого теперешние обстоятельства не так благоприятны, в особенности, если Маня вернется не вполне здоровой, а тогда я воспротивлюсь ее отъезду, учитывая те жесто-

кие условия жизни, которые ждут ее зимой в Париже. Я не говорю уж о всем другом и не считаю с тем обстоятельством, что мне будет очень тяжело расстаться с ней, поскольку это дело второстепенное. Вчера я написал ей письмо и постарался ободрить. Если она останется в Париже и даже не найдет уроков, то на год у меня хватит куска хлеба и для нее, и для себя.

С большой радостью узнал, что твой Казимеж ведет себя молодцом. Было бы очень своеобразно, если бы Вы обе приобрели себе по Казимежу!..»

Милый Скловский! В глубине своей души он не очень хотел, чтобы его любимица Манюша отправилась бродить по свету наугад. У него было смутное желание чего-то, что удержало бы ее в Польше: хотя бы и брак с Казимежом З.

Но в Закопане во время прогулки в горах у молодой пары произошло решающее объяснение. Когда Казимеж в сотый раз стал поверять Мане свои колебания и опасения, Маня вышла из себя и произнесла фразу, порвавшую все:

— Если вы сами не находите возможности прояснить наше положение, то не мне учить вас этому.

В течение этой длительной идиллии, впрочем довольно прохладной, Маня показала себя, как выразился потом старик Скловский, «гордой и надменной».

Девушка оборвала ту непрочную нить, которая ее еще удерживала. Теперь она дает волю своему нетерпеливому стремлению. Дает себе отчет в тяжело прожитых годах, в своем бесконечном долготерпении. Вот уже восемь лет, как она окончила гимназию, из них шесть она была гувернанткой. Это уже не та молоденькая девушка, у которой вся жизнь еще впереди. Через несколько недель ей двадцать четыре года!

И Маня призывает на помощь Броню. В письме от 23 сентября 1891 года она пишет:

«Теперь, Броня, мне нужен твой окончательный ответ. Решай, можешь ли ты действительно приютить меня, так как я готова выехать. Деньги на расходы у меня есть. Напиши мне, можешь ли ты, не очень обременяя себя, прокормить меня. Это было бы для меня большое счастье, которое укрепило бы меня нравственно после всего, что я пережила за это лето и что будет иметь влияние на всю мою жизнь, но, с другой стороны, я не хочу навязывать себя тебе.

Так как ты ждешь ребенка, я, может быть, окажусь и вам полезной. Во всяком случае, пиши, как обстоит дело. Если мое

прибытие возможно, то сообщу, какие вступительные экзамены мне предстоит держать и какой самый поздний срок записи в студенты.

Возможность моего отъезда так меня волнует, что я не в состоянии говорить о чем-нибудь другом, пока не получу твоего ответа. Умоляю тебя ответить мне немедленно и шлю вам обоим нежный привет.

Вы можете поместить меня где угодно, так, чтобы я вас не обременила; со своей стороны обещаю ничем не надоедать и не вносить никакого беспорядка. Прошу тебя, отвечай, но вполне откровенно!»

* * *

Если Броня не ответила телеграммой, то только потому, что телеграмма — слишком большая роскошь. Если Маня не вскочила в первый же поезд, то только потому, что надо было как можно экономнее организовать это большое путешествие. Она раскладывает на столе накопленные рубли, к которым отец добавил небольшую, но очень пригодившуюся сумму. Начался подсчет.

Столько-то на паспорт. Столько-то на проезд по железной дороге... Нельзя быть расточительной и брать билет от Варшавы до Парижа в третьем классе, самом дешевом в России и во Франции. Слава богу, на германских дорогах существует и четвертый класс без отделений, почти такой же голый, как товарные вагоны. По всем четырем стенкам тянется скамья, а посреди можно поставить складной стул и устроиться не так уж плохо!

Не забыть советов практичной Бронни: взять из дому все необходимое для жизни, чтобы не делать в Париже непредвиденных затрат. Манин матрац, постельное белье, полотенца надо отправить заранее малой скоростью. Ее белье, ботинки, платья и две шляпки уже сложены на диване, а рядом с ним зияет откинутой крышкой единственное роскошное приобретение — пузатый, деревянный, коричневого цвета чемодан, весьма деревенский с виду, но зато прочный, и Маня любовно выводит на нем черной краской большие буквы: «М. С.» — свои инициалы.

Матрац уехал, чемодан сдан в багаж, у путешественников остаются на руках пакет с питанием на три дня дороги, складной стул для германского вагона, книги, пакетик с карамелью и одеяло. Разместив свою поклажу в сетке и заняв место на узенькой жесткой скамейке, Маня выходит на платформу.

Ее серые глаза сверкают сегодня особым лихорадочным блеском.

В порыве трогательного чувства и вновь нахлынувших угрызений совести Маня обвиняет отца, награждает его словами нежными и робкими, как будто извиняясь:

— Я еду ненадолго... года на два, на три — не больше! Как только я закончу свое образование, сдам экзамены, я вернусь, мы снова проживем вместе и не расстанемся уже больше никогда... Правда?

— Да, Манюшенька, — шепчет учитель охрипшим голосом, сжимая дочь в объятиях. — Возвращайся поскорее, учись хорошо. Желаю тебе успеха!

* * *

Прорезая ночь свистками и железным грохотом, поезд несется по Германии.

Скорчившись на складном стуле в вагоне четвертого класса, укутав ноги и время от времени старательно пересчитывая прижатые к себе пакеты, Маня раздумывает о прошлом, о своем таком долгожданном и феерическом отъезде. Стараются представить себе будущее. Ей думается, что она скоро вернется в родной город и станет скромной учительницей. Как далека — о, как бесконечно далека она от мысли, что, сев в этот поезд, она уже сделала свой выбор между тьмой и светом, между ничтожеством серых будней и вечной славой.

ПАРИЖ

Проезжая от улицы Ля Вийет до Сорбоины, видишь не очень красивые кварталы, да и самый переезд не отличается ни скоростью, ни удобством. От Немецкой улицы, где живет Броня с мужем, до Восточного вокзала ходит запряженный тройкой лошадей омнибус в два этажа с винтовой лесенкой, ведущей на головокружильный импернал. От Восточного вокзала до Университетской надо ехать другим омнибусом.

Само собой разумеется, что именно на этот незащищенный от превратностей погоды импернал и карабкается Маня, зажав под мышкой старый кожаный портфель, уже бывавший в «Вольном университете».

Усевшись на этой подвижной обсерватории, девушка с застывшими от зномого ветра щеками перегибается и жадно смотрит по сторонам. Что ей и серое однообразие бесконечной улицы Лафайет, и мрачный ряд магазинов на Севастопольском бульваре? Ведь эти лавочки, эти вязы, эта толпа и даже эта пыль — все это для нее Париж... Наконец-то Париж!

Каким молодым чувствуешь себя в Париже, каким сильным, бодрым, пренсполненным больших надежд! А для молодой польки какое чудесное ощущение личной свободы!

Уже в тот момент, как Маня, утомленная дорогой, сошла с поезда в закопченном пролете Северного вокзала, сразу развернулись ее плечи, сво-

боднее забилося сердце и задышала грудь. Только теперь она вдохиула воздух свободной страны. В порыве восторга ей все кажется чудесным. Чудесно, что гуляющие по тротуарам бездельники болтают о чем вздумается, чудесно, что в книжных лавках свободно продаются произведения печати всего мира. А еще чудеснее, что эти прямые улицы ведут ее, Маию Складовскую, к широко раскрытым дверям университета. Да еще какого университета! Самого знаменитого, что в течение веков описывается как «конспект Вселенной», о котором Лютер говорил: «Самая знаменитая и наилучшая школа — в Париже, а зовут ее Сорбонна!»

Ее приезд похож на сказку, а ленивый, тряский, промерзший омнибус — на волшебную карету, в которой нищая белокурая принцесса едет из своего скромного жилища в созданный ее мечтой дворец.

Карета переезжает Сену, и все вокруг восхищает Маию: два рукава реки, подернутые дымкой, острова, величественные памятники и площади, башни Нотр-Дама. Взявшись по бульвару Сен-Мишель, омнибус замедляет ход. Наконец! Приехали! Новопеченная студентка хватается за портфель и подбирает тяжелую шерстяную юбку. В спешке нечаянно толкает соседку. Робко извиняется на неуверенном французском языке. Сбежав по ступенькам омнибуса и очутившись на улице, Маия с напряженным выражением лица спешит к ограде Сорбонны.

Этот дворец науки имел в 1891 году своеобразный вид. Уже шесть лет, как его все перестраивают, и здание Сорбонны стало похоже на какого-то громадного удава, готовящегося сбросить старую кожу. Позади нового, чисто-белого фасада стоят обветшалые здания времен Ришелье, а рядом высятся леса, где еще слышится стук молотков. Эта строительная передрыга вносит в учебный процесс живописный беспорядок. По мере продвижения строительных работ и лекции читаются то в одной аудитории, то в другой. Лаборатории пришлось разместить временно в зданиях по улице Сент-Жак.

Но разве все это так важно, если и в этом году, по примеру прежних лет, на стене рядом с комнаткой швейцара бежит проспект:

*Французская Республика,
Факультет естествознания — первый семестр.
Начало лекций в Сорбонне
3 ноября 1891 года...*

Слова волшебные, слова влекущие!..

На свои маленькие сбережения Маия имеет право выбрать

то, что ей нравится из многочисленных лекций, значащихся в сложном расписании. У нее свое собственное место в «химической», где она может не наобум, а, пользуясь руководством и советами, с помощью нужной аппаратуры успешно ставить простые опыты. Маня — студентка (какое это счастье!) факультета естествознания.

Она уже не Маня и даже не Мария, свой студенческий билет она подписывает по-французски: *Мари Складовска*. Но так как ее товарищи по факультету не способны произнести такое варварское сочетание согласных, как «Складовска», а полка никому не разрешает звать ее просто Мари, то она окутана какой-то тайной. Встречая в гулких галереях эту девушку, одетую скромно, но изящно, с суровым выражением лица под шапкой пепельных мягких волос, молодые люди удивленно оборачиваются и спрашивают: «Кто это?». Если ответ и следует, то неопределенный: «Какая-то иностранка... У нее немыслимо трудная фамилия!.. На лекциях по физике и математике сидит всегда в первом ряду... Девушка не из разговорчивых...»

Юноши провожают глазами силуэт ее грациозной фигуры, пока она не исчезнет за углом какого-нибудь коридора, и в заключение говорят: «А волосы красивые!»

Пепельные волосы и небольшая головка славянки еще долго останутся среди сорбоннских студентов единственной приметой национальной принадлежности этой дикарки.

В настоящее время меньше всего ее интересуют молодые люди. Она всецело увлечена несколькими серьезными мужчинами, которых зовут «профессорами», стремится выведать их тайны. Следуя почтенному обычаю тех времен, они читают лекции в белых галстуках и черных фраках, вечно испачканных мелом. Вся жизнь Мари проходит в созерцании торжественных фраков и седых бород.

Позавчера читал лекцию, хорошо построенную, строго логичную, профессор Липпманн. А вчера Мари слушала профессора Бути с обезьяньей головой, таящей в себе целый кладезь науки. Мари хотелось бы слушать все лекции, познакомиться со всеми двадцатью тремя профессорами, поименованными в белом проспекте курсов. Ей кажется, что утолить всю свою жажду знаний она не сможет никогда.

Непредвиденные трудности встают перед Мари в первые же недели ее студенчества. Она воображала, что знает французский язык в совершенстве, и очень ошибалась. Смысл быстро произнесенных фраз ускользает от нее. Она воображала, что уровень ее подготовки вполне достаточен для усвоения университетских лекций. Но одинокие занятия в Цуках, ее

знания, приобретенные путем обмена письмами со стариком Складовским, ее опыты, проделанные наудачу в лаборатории музея, не могут заменить солидную подготовку, которую дают парижские лица. В своих знаниях по математике и физике Мари обнаружила огромные пробелы. Сколько же придется ей работать, чтобы достигнуть чудесной, заветной цели — университетского диплома!

Сегодня лекцию читает Поль Аппель. Ясность изложения, живописность стиля! Мари пришла одной из первых. В ступенчатом амфитеатре, скупо освещенном светом декабрьского дня, она занимает место внизу, вблизи кафедры, раскладывает на пюпитре ручку и тетрадь в сером холщовом переплете, куда и будет сейчас вносить заметки своим красивым, четким почерком. Она уже заранее собирается, сосредоточивает свое внимание и даже не слышит все нарастающего гула голосов, который сразу обрывается при появлении профессора.

Поразительно, как некоторые профессора умеют создавать напряженно внимательную тишину в аудитории... Молодые люди, склонившись над тетрадями, записывают уравнения по мере того, как пишет их на доске рука ученого. Теперь они только ученики, алчущие знания. Здесь царство математики!

Аппель с квадратной бородкой и в строгом фраке великолепен. Он говорит спокойно, отчетливо произнося все звуки, чуть-чуть тяжеловато — по-эльзасски. Его доказательства изящны, строги, как будто преодолевают все опасности и подчиняют себе Вселенную. Он властно и уверенно вторгается в тончайшие сферы научного познания, легко жонглирует цифрами, планетами и звездами. Он не боится смелых сравнений и, сопровождая слова широким жестом, совершенно спокойно говорит:

— Я беру солнце и бросаю...

Сидя на скамейке, Мария улыбается восторженной улыбкой. Ее серые, светлые глаза под высоким выпуклым лбом блестят от восторга. Как люди только могут думать, что наука — сухая область? Есть ли что-нибудь более восхитительное, чем невыблемые законы, управляющие мирозданием, и что-нибудь чудеснее человеческого разума, открывающего эти законы? Какими пустыми кажутся романы, а фантастические сказки — лишеными воображения сравнительно с этими необычайными явлениями, связанными между собой гармоничной общностью первоначал, с этим порядком в кажущемся хаосе. Такой взлет мысли можно сравнить только с любовью, вспыхнувшей в душе Мари к бесконечности познания, к законам, управляющим Вселенной.

— Я беру солнце и бросаю...

Чтобы услышать эту фразу, произнесенную мудрым и величественным ученым, стоило бороться и страдать где-то в глуши все эти годы. Мари счастлива теперь вполне.

Казимеж Длусский (муж Броня) своему тестю — старику Складовскому, ноябрь 1891 года:

«Дорогой и глубокоуважаемый пан Складовский, ...у нас все благополучно. Мари работает серьезно, все время проводит в Сорбонне, и мы с ней видимся только за ужином. Это особа очень независимая, и, несмотря на формальную передачу власти мне, она не только не оказывает мне никакого повиновения и уважения, но издевательски относится к моему авторитету и серьезности, как к дырявым башмакам. Я не теряю надежды образумить ее, но до сих пор мои педагогические таланты оказывались не действенными. Однако мы друг друга понимаем и живем в полном согласии.

С нетерпением жду приезда Броня. Моя милая жена не то ропится ехать домой, где ее присутствие было бы весьма полезным и горячо желанным. Добавляю, что мадемуазель Мари совершенно здорова и у нее довольный вид.

Будьте уверены в моем полном уважении».

Таковы первые известия от доктора Длусского о своей новой родственнице, поручением его заботам, так как Броня отсутствовала, задержавшись на несколько недель в Польше. Нечего говорить о том, что этот саркастический молодой человек оказал Мане исключительно сердечный прием.

Из всех польских эмигрантов, проживающих в Париже, Броня выбрала самого красивого, самого блестящего и самого умного. Казимеж Длусский был студентом и в Петербурге, и в Одессе, и в Варшаве.

Вынужденный бежать из России, так как ему приписывали участие в заговоре против Александра II, он стал революционным публицистом в Женеве, затем попал в Париж, где поступил в Школу политических наук, оттуда перешел на медицинский факультет и, наконец, стал врачом. Где-то в Польше живут его богатые родные, а в Париже среди досье Министерства иностранных дел лежит очень досадная регистрационная карточка, составленная на основе донесений царской полиции, карточка, все время мешающая ему натурализоваться и осесть в Париже.

Приехавшую домой после некоторой отлучки Броню встречают громкими приветствиями и сестра, и муж. Спешно требовалось, чтобы разумная хозяйка взяла в свои руки ведение

домашнего хозяйства. Через несколько часов по ее прибытии в квартире на третьем этаже с широким балконом, выходящим на Немецкую улицу, уже наведен порядок. Кухня опять приобрела безукоризненную чистоту, повсюду вытерта пыль, на рынке куплены цветы и поставлены в вазы. У Броня организаторский талант!

Это она придумала нанять квартиру поблизости от парка Бют-Шомон. Заняв небольшую сумму денег, она несколько раз тайком побывала в Аукционном зале, и через несколько дней в квартире Длусских появилась изящная венецианская резная мебель, хорошенькие драпировки и пианино. Создалась атмосфера домашнего уюта. Так же находчиво молодая хозяйка распределила время занятий каждого из них. Врачебный кабинет принадлежал Казимежу в определенные часы, когда он принимал своих пациентов, главным образом мясников с бойни, в другие же часы кабинетом пользовалась Броня для приема своих гинекологических больных. Трудиться приходилось много, супруги-врачи и бегали по вызовам, и принимали на дому...

Но вот наступает вечер, зажигаются лампы, и все заботы уходят прочь. Казимеж любит развлечься. Напряженная работа, полная пустота в кармане не влияют ни на его живость, ни на его веселое лукавство. После долгого дня усиленной работы он уже через несколько минут затевает поездку в театр, конечно, на дешевые места. Нет денег — Казимеж садится за пианино, а играет он чудесно. Попозже в передней слышатся звонки, приходят друзья из польской колонии — молодые супружеские пары, которые знают, что «к Длусским можно прийти в любой день». Броня то появляется, то исчезает. На столе горячий чайник, сироп, холодная вода, и тут же ставят груды пирожков, испеченных докторшей в свободное после полудня время, между двумя приемами больных.

Однажды вечером, когда Маня уселась за книги у себя в комнатке в конце квартиры и собиралась просидеть часть ночи, в комнату влетел зять.

— Надевай мантилью, шляпку — живо! У меня даровые билеты на концерт...

— Но...

— Никаких но! Играет польский пианист, о котором я говорил тебе. Продано билетов очень мало, надо по дружбе к бедному юноше заполнить зал. Я уже наберу добровольцев, мы будем аплодировать до боли в руках и создадим всю видимость полного успеха... А если бы ты знала, как он играет!

Нет смысла возражать этому бородатому бесу с черными, веселыми, блестящими глазами. Как он захочет — так и будет.

Всегда стоит на своем! Мари закрывает книгу, и трое молодых людей скатываются с лестницы. Выскочив на улицу, бегут со всех ног, чтобы успеть на подъезжающий омнибус.

Спустя немного времени Мари уже сидит в пустом на три четверти Эраровском концертном зале. На эстраду выходит худой, высокий человек с необыкновенным лицом в ореоле пышных огненно-рыжих волос. Вот он садится за рояль. Лист, Шуман и Шопен оживают под тонкими пальцами пианиста. Выражение лица властное и благородное. Мари жадно слушает пианиста. Несмотря на свой лоснящийся фрак и полупустой зал, он держится с видом не захудалого артиста, а какого-то божества.

Впоследствии этот музыкант будет заходить по вечерам на Немецкую улицу под руку с очаровательной женщиной, панной Горской, вначале только влюбленным в нее, а позже — ее мужем. Он рассказывает о своей жизни в бедности, о своих разочарованиях, но говорит без горечи. Броня и Мари вспоминают с панной Горской те давние времена, когда шестнадцатилетняя Горская сопровождала их матери пани Скловской во время ее заграничного лечения. «Когда мама вернулась в Варшаву, — говорит со смехом Броня, — она сказала, что больше не будет брать Вас на курорты — уж очень вы красивы!»

Изголодавшись по музыке, молодой человек с гривой огненных волос вдруг прерывает разговор несколькими аккордами. И скромное пианино Длусских, как по волшебству, превращается в великолепный инструмент.

Этот полный вдохновения пианист очарователен. Он нервен, он влюблен, и счастлив, и несчастлив.

Из него выйдет гениальный виртуоз, а позже он станет премьер-министром и министром иностранных дел Польши.

Его имя — Игнаций Падеревский.

* * *

Мари с жаром набросилась на все, что ей предоставляла новая эпоха в ее жизни. Трудится с увлечением. Вместе с тем находит и много радостного в чувстве товарищества, в той сплоченности, какую создает совместная университетская работа. Но заводить знакомства с французскими товарищами еще мешает ее робость, и Мари ищет прибежища в кругу своих соотечественников. Панна Красковская, панна Дидинская, медик Мотзь, биолог Даниш, Станислав Шалай — будущий муж Эли и младший Войцеховский — будущий президент Польской республики становятся ее друзьями в польской колонии Латинского квартала, на этом островке свободной Польши.

Здесьняя польская молодежь бедна, но устраивает вечеринки или ужины в рождественский сочельник, и тогда добровольцы-поварихи готовят только варшавские блюда: горячий борщок амарантового цвета, капусту с шампиньонами, фаршированную щуку, маковники; подается немножко водки и разливанное море чая... Бывают и любительские спектакли, на которых разыгрывают драмы и комедии. Программки этих вечеров — конечно, на польском языке — разрисованы символическими изображениями: снежная равнина с хатой, а ниже мансарда, где сидит юноша, мечтательно склонясь над книгой; есть и рождественский дед, сквозь каминную трубу он сыплет в лабораторию научные руководства; а на первом плане пустой кошелек, изгрызенный крысами...

В этих развлечениях принимает участие и Мари. Разучивать роли, чтобы играть в комедиях, ей некогда. Но когда скульптор Вашинковский устроил патристический спектакль с живыми картинами, то на нее пал выбор, чтобы воплотить главное действующее лицо: «Польшу, разрывающую свои оковы».

В этот вечер суровая студентка сделалась неузнаваема. На ней была классическая туника, окрашенная в национальные цвета Польши. Белокурые волосы обрамляли ее решительное славянское лицо с чуть выступающими скулами и свободно падали на плечи.

Несмотря на чужбину, ни Мари, ни ее сестра, как видно, не расстаются с Варшавой. Местом жительства они избрали Немецкую улицу на окраине, еще не решаясь проникнуть в центр, поселились поближе к Северному вокзалу и поездкам, привезшим их во Францию. Родня с ними и крепко держит сестер множеством всяких уз, из коих немалое значение имеет их переписка с отцом. Хорошо воспитанные, почтительные дочери пишут старику Скłodовскому, обращаясь к нему в третьем лице* и заканчивая каждое письмо словами: «Целую руки папочке»; рассказывают о необычайном разнообразии своей жизни и дают ему множество поручений. Они не представляют себе, что чай можно купить где-нибудь, кроме Варшавы, что в крайнем случае чай по доступным ценам можно достать и в Париже, как и уют.

Броня — своему отцу:

* По-польски вместо вежливого «Вы» часто употребляется третье лицо.

«...Я была бы крайне признательна милому папочке, если бы он прислал два фунта чаю по два рубля двадцать копеек. Кроме этого, нам больше ничего не нужно, Мане тоже.

Мы все здоровы. У Мани очень хороший вид, и, как мне кажется, трудовая жизнь не утомляет ее нисколько...»

Отец Складовский — Броня:

«Милая Броня, очень рад, что утюг оказался хорошим. Я выбирал его сам и поэтому мог опасаться, такой ли он, какой тебе хотелось. Я не знал, кому поручить эту покупку, как, впрочем, и все другие. Хотя они относятся к лекомысленной области дамского хозяйства, пришлось заняться или самому...»

Вполне понятно, что Мари рассказала отцу о вечере на квартире у скульптора и о собственном триумфе в образе «Полонины». Но старик не был этим восхищен.

31 января 1892 года Складовский пишет дочери:

«Милая Маня, меня огорчило твое последнее письмо. Я крайне сожалею о том, что ты принимала такое активное участие в организации этого театрального представления. При всей своей невинности торжество такого рода привлекает внимание к устроителям, а ты, конечно, знаешь, что в Париже существуют люди, которые весьма старательно следят за твоим поведением, записывают имена всех, кто выдвигается вперед, и посылают свои сведения сюда для их использования в различных целях. Это может стать источником крупных неприятностей и даже закрыть этим лицам доступ к определенным профессиям. Таким образом, те, кто рассчитывают впоследствии зарабатывать свой хлеб в Варшаве, не подвергая себя разным опасностям, должны в своих же интересах вести себя потише и бывать в таких местах, где их не знают... Подобные события, как балы, концерты и другие в том же роде, описываются зазетными корреспондентами с перечислением имен участников.

Упоминание твоего имени в газетах мне причинило бы большое горе. Вот почему в своих предшествующих письмах я сделал тебе несколько замечаний и просил тебя держаться как можно дальше в стороне...»

Поддействовало ли тут большое влияние старика Складовского, или же здравый смысл самой Мари воспротивился бесплодной суете? Вероятнее, что сама девушка очень скоро уви-

дала, насколько эти безобидные развлечения мешают спокойному труду. Она отходит в сторону... Не для того приехала она во Францию, чтобы участвовать в живых картинах, а каждая минута, не посвященная учению, — потерянное время.

Легко и весело живет на Немецкой улице, но для Мари там нет возможности сосредоточиться. Она не может запретить Казимежу играть на пианино, принимать своих друзей или врываться к ней, когда она решает сложные уравнения; не может препятствовать вторжению в квартиру падаентов молодых врачей. Ночью ее постоянно будят звонки и шаги людей, присланных за Броней по случаю родов у жены какого-нибудь мясника.

А самый главный недостаток пребывания здесь — целый час езды до Сорбонны. Да и оплачивать два омнибуса становится в конце концов накладно.

Семейный совет решает, что Мари поселится в Латинском квартале по соседству с университетом, лабораториями и библиотеками. Длусские уговаривают Мари взять у них несколько франков на переезд. На следующий же день с утра Маня выступает в поход и бродит по мансардам, где сдаются комнаты.

Не без сожаления расстается Мари с квартирой, затерянной среди прозаического квартала боеи, но полной дружеского участия, хорошего настроения и мужества. Между Мари и Казимежом Длусским установились братские отношения, которые сохранились на всю жизнь. Отношения между Мари и Броней уже с давних пор развешиваются прекрасной повестью: повестью о преданности, самопожертвовании и взаимопомощи.

Несмотря на беременность, Броня помогает младшей сестре упаковать ее жалкие пожитки и уложить на ручную тележку. Пользуясь еще раз знаменитым омнибусом и пересаживаясь с империала на импернал, Казимеж и Броня торжественно сопровождают «нашу девочку» до ее студенческой квартиры.

СОРОК РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Да, жизнь Мари была до сих пор еще не очень отчужденной и убогой. Теперь Мари все глубже уходит в одиночество, полностью отключается от всего окружающего, и разговоры почти не нарушают того молчания, каким окутала она свою теперешнюю жизнь. Более трех лет будут посвящены только учению. Это жизнь, согласная с ее мечтой, жизнь суровая, как у подвижников-монахов и миссионеров. Да и сам образ жизни отличается монашескою простотой. По доброй воле отказавшись от квартиры и стола у Длусских, Мари теперь сама контролирует свои расходы. А ведь ее месячный бюджет, считая собст-

венные сбережения и небольшие дотации, получаемые от отца, — сорок рублей.

Каким образом женщине, да еще иностранке, прилично прожить в 1892 году в Париже на сорок рублей в месяц — три франка на день, оплачивая комнату, еду, одежду, тетради, книги, лекции в университете? Вот задача на быстрое решение! Но не бывало случая, чтобы Мари не находила решения какой-нибудь задачи.

Мари — своему брату Юзефу, 17 марта 1893 года:

«Ты, несомненно, знаешь от папы, что я решила поселиться ближе к месту моих занятий; по разным соображениям это стало необходимым для меня, особенно в текущем семестре. Теперь мое намерение осуществилось, и я пишу в моем новом обиталище: улица Фляттер, 3. Оно состоит из небольшой комнатки, очень недорогой и вполне приличной; через пятнадцать минут я уже в лаборатории, а через двадцать — в Сорбонне. Само собой разумеется, что без помощи Длусских я не устроилась бы так удачно.

Работаю в тысячу раз больше, чем во время моего пребывания на Немецкой улице. Там бесконечно мешал мне мой милый зять. Когда я была дома, он совершенно не терпел, чтобы я занималась чем-нибудь другим, кроме приятной болтовни с ним. Мне приходилось из-за этого вести войну против него. Через несколько дней он и Броня соскучились по мне и зашли навестить меня. Я угостила их холостяцким чаем, а после мы сошли вниз повидать супругов С., живущих в этом же доме».

Мари не единственная студентка, располагающая лишь ста франками в месяц: большинство польских подруг такие же бедняки, как и она. Некоторые живут по три и по четыре в одной квартирке и сообща столуются. Другие живут одиночками и тратят несколько часов в день на хозяйство, кухню, штопку, но благодаря своей изобретательности едят сытно, живут в тепле и одеваются более или менее изящно.

Однако Мари слишком дорожила своим спокойствием, чтобы жить с подругами в одной квартире, слишком увлекалась работой, чтобы заботиться о комфорте. Да если бы и захотела, то оказалась бы для этого негодной: с семнадцати лет она служила у чужих людей и, отдавая семь-восемь часов в день урокам, совершенно не имела времени стать хозяйкой. То, что Броня усвоила, ведя хозяйство в отцовском доме, было неизвестно Мари. И в польской колонии проходит слух, что «панна Складовска не знает даже, из чего варится бульон».

Она не знала этого и не хотела знать. Зачем тратить целое утро на раскрытие тайн кулинарии, если за это время можно усвоить несколько страниц учебника по физике или провести в лаборатории интересный опыт?

Все обдумав, она вычеркнула из планов своей жизни всякие развлечения, дружеские вечеринки, общение с людьми. Совершенно так же она приходит к убеждению, что материальная сторона жизни не имеет ни малейшего значения, что она просто не существует. Исходя из этого, Мари создает себе какой-то спартанский, очень замкнутый образ жизни.

Улица Фляттер, потом бульвар Пор-Рояль, улица Фейлитинок... Все комнаты, в которых последовательно живет Мари, схожи и скромностью своей цены, и отсутствием комфорта. Сначала она поселяется в доме с меблированными комнатами, где живут студенты-молодожены, врачи, офицеры из соседней полковой казармы. Затем, в погоне за полной тишиной, она снимает мансарду под крышей одного частновладельческого дома. За пятнадцать — двадцать франков можно найти убежище — малюсенькую комнатку со слуховым окошком на скате крыши. В это окно, прозванное «табакеркой», виден квадрат неба. Ни отопления, ни освещения, ни воды.

И вот в такой комнатке Мари расставляет свое имущество: складную железную кровать с матрацем, привезенным из Польши, железную печку, простой дощатый стол, кухонный стул, таб. За ними следует керосиновая лампа с абажуром ценой в два су, кувшин для воды (воду надо брать из крана на площадке лестницы), спиртовая горелка размером с блюдечко, которая в течение трех лет служит для готовки еды. У Мари есть еще две тарелки, нож, вилка, чайная ложечка, чашка и кастрюля. Наконец, водогрейка и три стакана — что за роскошь! — чтобы можно было угостить чаем Длусских, когда они заходят навестить Мари. В тех редчайших случаях, когда бывает у нее прием гостей, закон гостеприимства остается в силе: хозяйка разжигает маленькую печку с трубой, протянутой сложными извилинами по комнате. А чтобы усадить гостей, вытаскивает из угла большой пузатый коричневый чемодан, обычно используемый в качестве платяного шкафа и комода.

Никакой прислуги: плата даже приходящей на час в день прислуге обременила бы до крайности бюджет Мари. Отменены расходы и на проезд: в любую погоду Мари идет в Сорбонну пешком. Минимум угля: один-два мешка брикетов на всю зиму, купленных в лавочке на углу, причем Мари сама перетаскивает их ведрами на шестой этаж по крутой лестнице, останавливаясь на каждой площадке, чтобы передохнуть. Минимум затрат на освещение: как только наступают сумерки, студентка бежит в

благодатный приют, именуемый библиотечкой Сент-Женевьев, где тепло и горит газ. Там бедная полька садится за столик и, подперев голову руками, работает до самого закрытия библиотеки, до десяти часов вечера. Дома надо иметь запас керосина, чтобы хватило на освещение до двух часов ночи. Только тогда Мари с красными от утомления глазами бросается в постель.

Из скромной области практических познаний она усвоила только одно — умение шить. Это память об уроках рукоделия в пансионе у Сикорской и о долгих днях в Щуках, где юная гувернантка бралась за шитье, наблюдая за приготовлением уроков ее учениками. Это не значит, что Мари покупает отрез дешевой материи и шьет себе новенькую блузку. Совсем нет, она словно поклялась никогда не расставаться со своими варшавскими платьями и носит их все время, хотя они уже потрепаны, потерты, залатаны. Но Мари старательно их чистит, чинит, чтобы придать сносный вид. Она снисходит и до стирки в тазу, когда бывает чересчур утомлена работой и надо сделать перерыв. Из-за нежелания тратить уголь, а также по рассеянности она не топит печки с извилистой трубой и пишет цифры, уравнения, не замечая, что от холода плечи у нее дрожат, а пальцы деревенеют. Горячий суп, кусок говядины, конечно, подкрепили бы ее, но ведь Мари не знает, как варят суп! Она не может тратить целый франк и целых полчаса, чтобы изжарить эскалоп! Редкий случай, если она заходит к мяснику, а еще реже в кафе: чересчур дорого. В течение многих недель питание состоит из чая и хлеба с маслом. Когда ей хочется попировать, она заходит в любую молочную Латинского квартала и съедает там два яйца или же покупает какой-нибудь фрукт, маленькую плитку шоколада.

При таком режиме девушка, приехавшая из Варшавы несколько месяцев тому назад здоровой и сильной, очень скоро становится малокровной. Вставая из-за стола, она нередко чувствует головокружение и, едва успев добраться до постели, падает без чувств. Придя в себя, Мари задает себе вопрос, почему она упала в обморок, думает, что заболела, но и болезнью пренебрегает так же, как всем остальным. Ей не приходит в голову, что вся ее болезнь — истощение от голода, а обмороки — от общей слабости.

Само собой разумеется, что Мари не хвастается Длусским таким замечательным устройством своей жизни. Всякий раз, когда она заходит к Длусским, на их расспросы об ее успехах в кулинарии и ежедневном рационе Мари дает лишь односложные ответы. Если Казимеж говорит, что у нее нездоровый вид, она ссылается на перегруженность работой, считая это единственной причиной усталости, отделяется от заботливых вопросов,

равнодушно махнув рукой, и начинает играть с дочкой Броня, своей племянницей, успевшей сделаться ее любимницей.

Но как-то раз Мари падает в обморок в присутствии одной своей подруги, которая сейчас же бежит к Длусским. Спустя час Казимеж уже карабкается по длинной лестнице, входит в мансарду, где немного бледная Мари уже готовится к завтрашней лекции. Он обследует свою невестку, а главное — чистые тарелки, пустую кастрюлю и всю комнату, где не находит ничего съестного, кроме чая. Он сразу понимает в чем тут дело, и начинает допрос:

— Что ты ела сегодня?

— Сегодня?.. Не помню... Я недавно завтракала.

— А что ела? — спрашивает неумолимый Казимеж.

— Вишни, а еще... да разное...

В конце концов Мари должна сознаться: со вчерашнего дня она съела полпучка редиски и полфунта вишен. Работала до трех ночей, спала четыре часа. Утром ходила на лекции в Сорбонну. Возвратясь домой, доела редиску... ну, а потом упала в обморок.

Врач прекращает допрос. Он злится. Злится и на Мари, глядящую на него пепельно-серыми глазами, выражающими навивую радость и сильную усталость, злится и на себя за то, что недостаточно внимательно блюл «девочку», порученную ему стариком Складовским. Не слушая возражений, он подает Мари майталью, шляпку, заставляет собрать книги и тетрадки, которые понадобятся ей на следующей неделе, и молча, недовольный, огорченный, отводит к себе домой, а там, едва успев войти в квартиру, кличет Броню, занятую готовкой на кухне.

Проходит двадцать минут, и Маня поглощает лекарства, прописанные Казимежом: громадный бифштекс с кровью, блюдо жареного хрустящего картофеля. Словно чудом румянец выступает на ее щеках. В одиннадцать часов вечера приходит Броня и гасит свет в комнате, где поставлена кровать для младшей сестры. В течение нескольких дней Мари выдерживает этот разумный курс лечения и набирается сил. А затем приближающиеся экзамены всецело овладевают ею, и она снова перебирается в мансарду, дав обещание вести себя теперь благоразумно. На следующий день воздушное питание опять вступает в силу...

* * *

Работать! Работать! Мари вся целиком уходит в занятия и, вдохновившись успехами, чувствует себя способной познать все, что добыто людьми в области науки. Шаг за шагом она прохо-

дит курс математики, физики и химии. Мало-помалу осваивает экспериментальную технику. Вскоре на ее долю выпадает большая радость: профессор Липпмани дает ей несколько научных заданий, правда незначительных, но они предоставляют возможность показать способности и своеобразие ее умственного склада. В большой, высокой физической лаборатории Сорбонны с двумя винтовыми лестницами, ведущими на внутреннюю галерею, Мари Склодовска пробует собственные силы.

Она проникается страстной любовью к атмосфере сосредоточенности и покоя, к этому «климату» лаборатории, любовь к которому сохранит до последнего дня жизни. Работает она всегда стоя, то перед дубовым столом с аппаратурой для точных измерений, то перед копаком тяги, под которым кипит на жгучем пламени паяльной лампы раствор какого-нибудь вещества. В халате из грубой ткани Мари почти не отличается от молодых людей, задумчиво склонившихся над другими приборами. Они тоже уважают сосредоточенность мысли в этой обители науки. Мари работает бесшумно: никаких разговоров, кроме самых необходимых.

Только один диплом лицензиата — нет, этого мало! Мари решает добиться двух: по физике и математике. Былые планы, очень скромные, теперь растут и ввысь и вширь с такой быстротой, что у Мари нет времени, а главное — смелости сообщить о них отцу. А этот замечательный старик ждет с нетерпением, когда же, наконец, Мари вернется в Польшу. Он чувствует смутную тревогу по поводу того, что выращенная им птичка после стольких лет подчинения и самопожертвования стала независимой и обретает крылья.

Склодовский — Броне, 5 марта 1893 года:

«В последнем письме ты первый раз упоминаешь о намерении Мани сдавать экзамен на степень лицензиата. В своих письмах она никогда не говорила мне об этом, хотя я спрашивал ее на этот счет. Напиши мне точно, в какое время года проходят экзамены, какого числа Маня думает держать экзамен, каких расходов это требует и сколько стоит сам диплом. Я должен обдумать все заранее, чтобы послать Мане денег, а от этого будут зависеть и мои собственные планы...»

Я намерен оставить за собой теперешнюю мою квартиру и на будущий год: она очень подходит и для меня лично, и для Мани, если она вернется... Маня постепенно создаст себе определенный круг учеников, во всяком случае, я готов разделить с ней то, что имею. Мы выйдем из положения без затруднений».

Как ни дичится Маня людей, ей неизбежно приходится встречаться с ними каждый день. Несколько юношей оказывают ей теплое внимание. Девушки-иностранки, приехавшие изда- лека в Сорбонну, прозванную братьями Гонкур «приемной матерью питомцев науки», пользуются сочувствием молодых французов. Наша полька, наконец, свыкается и замечает, что ее товарищи, по большей части труженики, уважают ее и склонны полюбозничать. Мари, наверно, очень хороша собой, судя по тому, что ее подруга — очаровательно восторженная панна Дидинская, взявшая на себя роль ее телохранительницы — как-то грозилась разогнать своим зонтиком чересчур рьяных вздыхателей, толкущихся вокруг опекаемой ею студентки.

Предоставляя панне Дидинской устранять эти ухаживания, равнодушная к ним девушка ищет сближения с людьми, которые привлекают ее возможностью поговорить с ними о своей работе. В промежутке между лекциями по физике или занятиями в лаборатории Мари беседует с Полем Пенлеве, Жаном Перреном и Шарлем Мореном — будущими светилами французской науки. Но это товарищеские разговоры. У Мари нет времени ни для дружбы, ни для любви. Она влюблена лишь в математику и физику.

Ее мышление так четко, ум настолько ясен, что никакая «славянская» безалаберность не может сбить ее с пути. Она держится благодаря железной воле, маниакальному стремлению к совершенству и невероятному упорству. Последовательно, терпеливо Мари достигает обеих целей: в 1893 году получает диплом по физическим наукам, заняв первое место по оценкам, а в 1894 году — диплом по математическим наукам, заняв второе место.

Она решает в совершенстве овладеть французским языком. Это необходимое условие для достижения ее целей. Вместо того чтобы, по примеру многих поляков, ворковать по-французски певучие и неправильные фразы в течение многих месяцев, Мари досконально изучает орфографию и синтаксис, изгоняет малейшие следы польского акцента. Только слегка раскатистое «р» так и останется на всю жизнь милой особенностью ее говора, чуть глуховатого, но мягкого и очаровательного.

На свои сорок рублей в месяц Мари не только умудрялась жить, но иногда, лишив себя чего-нибудь необходимого, позволяла себе некоторую роскошь: пойти вечером в театр, отправиться в ближайшие окрестности Парижа, набрать в лесу цветов и принести домой. Деревенская девочка былых времен не умерла в ней. Заброшенная в большой город, Мари следит весной за появлением первых листочков, и как только находится немного времени и денег, она стремится в лес.

Мари — отцу, 16 апреля 1893 года:

«Прошное воскресенье я ездил в Ренси, довольно красивое и приятное местечко под Парижем. Фиалки и все фруктовые деревья, даже яблони, были в полном цвету, и воздух был насыщен запахом цветов.

В Париже деревья зазеленели еще в начале апреля. Теперь листья распустились, каштаны зацвели. Жарко, как летом, все в зелени. У меня в комнате становится душно. К счастью, в июле, когда стану готовиться к экзаменам, я буду жить не здесь, так как сняла эту комнату только до восьмого июля.

Чем ближе срок экзаменов, тем больше одолевает меня страх, что не успею подготовиться. В худшем случае отложу до ноября, но тогда пропадет все лето, а это мне не улыбается. Впрочем, проживем — увидим!»

Июль. Лихорадка, спешка, страшные экзамены, угнетенное состояние по утрам, когда Мари, усевшись среди тридцати других студентов в запертом экзаменационном зале, до того нервничает, что буквы пляшут у нее перед глазами, и в течение нескольких минут она не в состоянии даже прочесть роковой лист бумаги, на котором изложена задача и даны вопросы «по всему курсу». После сдачи работы наступают томительные дни ожидания торжественного дня, когда объявят результаты экзаменов.

Мари протискивается между своими конкурентами и их родственниками, набившимися битком в амфитеатр того зала, где будут объявлять имена выдержавших в порядке полученных отметок. В тесноте и давке она ждет выхода профессора... И вот среди наступившей тишины она слышит первым, самым первым, свое имя: «Мари Склодовска».

Никому не понять ее волнений! Она вырывается от поздравляющих ее товарищей, отделяется от окружающей толпы и убегает. Пробил час канкул, отъезда домой — в Польшу.

Возвращение бедных поляков под родной кров связано со сложившимися обычаями, и Мари их свято соблюдает. Сдает на хранение свое имущество — кровать, посуду, печку — какой-нибудь землячке, достаточно богатой, чтобы оставить за собой парижскую квартиру на лето. Прежде чем расстаться со своей мансардой, прибирает ее, прощается с консержкой, покупает кое-какие припасы на дорогу. Подсчитав остаток денег, идет в большой магазин и занимается тем, чего не делала ни разу за весь год: роется в безделушках...

Стыдно возвращаться на родину из-за границы с деньгами в кармане! Полагается истратить все до гроша на подарки для

близких и влезть в вагон на Северном вокзале, не имея в кармане ни копейки. Не правда ли, умно? В двух тысячах километров от Парижа, на том конце рельсов, есть паи Складовский, есть Юзеф, Эля и семейный кров, где можно есть досыта, где найдется портниха, которая за гроши сошьет белое и несколько теплых платьев. А в ноябре эти платья попадут в Париж, и Мари будет их носить, отправляясь на лекции во вновь обретенную Сорбонну!

...В Париж она возвращается пополнив, вволю наевшись за три месяца разной снедью в домах всех Складовских Польши, возмущенных ее плохим видом.

И снова перед ней учебный год, ей предстоит работать, набираться знаний, опять готовиться к экзаменам, худеть...

* * *

Но как только приближается осень, Мари охватывает все то же щемящее чувство. Где добыть денег? С чем вернуться в Париж? Сорок рублей, да еще сорок, и еще, еще... Собственные сбережения иссякают, ей стыдно думать о тех маленьких удовольствиях, в которых отказывает себе отец, чтобы помочь ей. В 1893 году положение дел казалось безнадежным, и Мари была уже готова отказаться от возвращения в Париж, как вдруг произошло чудо. Та самая панина Дидииская, которая в прошлом году защищала Мари от ее поклонников своим зонтиком, простерла свое покровительство еще дальше. Уверенная в том, что подруге предстоит большое будущее, она перевернула в Варшаве все вверх дном и добилась для Мари стипендии из фонда Александровича, назначаемой достойным студентам, желающим продолжать за границей свои научные занятия.

Шестьсот рублей! Пятнадцать месяцев жизни! Самой Мари, умевшей заботиться только о других, никогда не пришло бы в голову хлопотать ради себя об этой помощи, а главное — не хватило бы смелости. Ослепленная, она летит в Париж!

Мари — Юзефу, 15 сентября 1893 года (из Парижа):

«...Я уже сняла комнату на седьмом этаже, на чистенькой, приличной улице, которая мне очень нравится. Скажи папе, что там, где я должна была поселиться, нет ни одной свободной комнаты и что я очень довольна снятой мною: окно затворяется плотно, и когда я все устрою, то в ней не будет холодно, тем более что пол не каменный, а паркетный. По сравнению с моей прошлогодней комнатой — это прямо дворец. Стоит она сто восемьдесят франков в год, следовательно, на шестьдесят франков дешевле той, какую рекомендовал мне папа.

Надо ли говорить, как я безумно рада возвращению в Париж. Мне было тяжело расставаться с папой, но я видела, что он здоров, оживлен и может обойтись без меня, особенно когда и ты живешь в Варшаве. А я ставлю на карту всю мою жизнь... Поэтому мне показалось, что я могу еще остаться здесь без уприсений совести.

Я вплотную засела за математику, чтобы быть на должной высоте к началу лекций. Три раза в неделю по утрам я даю уроки одной подруге французенке, так как она готовится к экзамену, какой я уже сдала. Скажи папе, что я привыкаю к своей работе, что она меня не утомляет так, как раньше, и я не собираюсь ее бросать.

Сегодня я начинаю устраивать свой новый уголок — бедно, конечно, но что поделаешь? Приходится делать все самой, а иначе чересчур дорого. Я приведу в порядок мою мебель, вернее, то, что я так пышно именую, а все вместе взятое стоит франков двадцать.

На днях напишу письмо Юзефу Боускому, чтобы он сообщил о своей лаборатории. От этого зависит мой род занятий в будущем».

Мари — Юзефу, 18 марта 1894 года:

«...Я затрудняюсь описать тебе подробно мою жизнь, настолько она однообразна и, в сущности, мало интересна. Но я не томлюсь ее бесцветностью и жалею только об одном, что дни так коротки и летят так быстро. Никогда не замечаешь того, что сделано, а видишь только то, что остается совершить, и если не любить свою работу, то можно потерять мужество...

Мне бы хотелось, чтобы ты защитил докторскую диссертацию... Жизнь, как видно, не дается никому из нас легко. Ну, что ж, надо иметь настойчивость, а главное — уверенность в себе. Надо верить, что ты на что-то годен и этого «что-то» нужно достигнуть во что бы то ни стало. Быть может, все обернется к лучшему — именно тогда, когда ждешь этого меньше всего...»

Чудесная стипендия Александровича! Мари старается любым путем растянуть эти шестьсот рублей, чтобы остаться подольше в раю лабораторий и лекционных залов. Через несколько лет Мари выкрит шестьсот рублей из своего первого гонорара за технологическую работу, заказанную ей Обществом поощрения национальной промышленности, и отнесет их в секретариат фонда Александровича, ошеломяв весь комитет небывалым в его истории возвратом ссуды.

Мари приняла стипендию как знак доверия, как залог чести. По прямоте своей души она считала бы бесчестным задерживать чуть дольше деньги, которые сейчас же могут стать якорем спасения для другой бедной девушкн.

* * *

Когда я перечитывала написанную по-польски поэму моей матери о тех временах, когда я вспоминала, как она рассказывала о себе — с улыбкой и юмористическими замечаниями, когда смотрела на портрет, что был особенно ей дорог: маленькую фотографию студентки с волевым подбородком и смелым взглядом, — я чувствовала, что ни в какие времена она не переставала любить больше всего именно этот кипучий и тяжелый период своей жизни:

Как жестоко протекает юность женщины-студентки.
Когда вокруг нее другая молодежь все с новым увлечением
Стремится жадно к новым, для них доступным развлечениям!
И все же одинокая, безвестная студентка живет
счастлива в своей келье,
Где действует то пламенное рвенье, что расширяет душу
без конца.

Но пролетают и эти благие времена,
Приходится сказать «прощай» миру науки,
Чтоб отправляться в мир борьбы за хлеб
По серому проселку нашей жизни.
Как часто истомленная путем ее душа
Летит в тот милый сердцу угол,
Где обитал когда-то молчаливый труд
И где остался целый мир воспоминаний.

Само собой разумеется, что позже Мари узнала и другие радости. Но даже в часы безграничной нежности, в годы торжества и славы никогда эта «вечная» студентка не бывала так довольна — скажем прямо — так горда собой, как в те времена нищеты и пламенного, всепоглощающего устремления. Горда своей бедностью, горда своею независимой, одинокой жизнью в чужом городе.

Так, в своем бедном жилище, она работает вечерами при свете лампы, и ей кажется, что ее собственный, еще крохотный удел таниственнно соприкасается с жизнью высших личностей, перед которыми она преклоняется, и что она сама становится скромным, неведомым товарищем великих ученых прошлого, так же, как она, замкнувшись в плохо освещенных кельях; так же,

как она, отрешившихся от сует своего времени; так же, как она, подстегивающих свой ум, чтобы перескочить через уже достигнутый рубеж знания.

Да, эти четыре года, которые сама Мари Кюри называла «героической эпохой», были не самыми счастливыми в ее жизни, но, пожалуй, — самыми цельными и совершенными по содержанию, самыми близкими к вершинам человеческого знания, к которым устремлялся ее взор.

Когда ты молод, одинок и погружен в науку, можно не иметь на что жить и жить самой полной жизнью. Огромный энтузиазм придает двадцатилетней полке силу не обращать внимания на материальные лишения. Впоследствии любовь, материнство, супружеские заботы, ежедневный тяжелый труд изменят в реальной жизни образ Мари. Но в ту волшебную эпоху, в эпоху наибольшей своей бедности, она была беспечна, как ребенок. Она витает в другом мире свободно и легко и на всю жизнь сохранит о нем мысль, как о единственно чистом, истинном.

При таком неустойчивом существовании не все дни могут протекать ровно. Какой-нибудь неожиданный случай вдруг нарушает все: непреодолимая усталость, небольшое, но требующее ухода и лечения, заболевание. Да и другие, приводящие в ужас катастрофы... Единственная пара ботинок с дырявыми подошвами разваливается окончательно, и надо покупать новые. А это значит перекроить весь бюджет на целые недели, и непомерный расход придется возместить на пище, на керосине для освещения.

Или затянется зима, и подморозит мансарду на седьмом этаже. В комнате так холодно, что Мари не может заснуть. Она дрожит всем телом. Запас угля истощился... Ну и что ж? Разве молодая варшавянка позволит одолеть себя парижской зимой? Мари зажигает лампу, раскрывает большой чемодан и выкладывает всю одежду. Надевает как можно больше на себя, залезает в постель, накидывает кучей поверх одеяла остальное — платье и белье. А все же очень холодно. Мари протягивает руку, подтаскивает единственный стул, приподнимает и кладет его на ворох платья, создавая себе смутную иллюзию чего-то тяжелого и теплого. Теперь остается только ждать сна, но неподвижно, чтобы не разрушить это сложное сооружение. А в это время вода в кувшине постепенно затягивается ледяной коркой.

Мари вычеркнула из программы своей жизни любовь и замужество.

Это не так уже оригинально. Бедная девушка, униженная и разочарованная первой идиллией, клянется никогда больше не любить. Тем более студентке-славянке с ее пламенным стремлением к умственным высотам нетрудно отказаться от шага, ведущего зачастую девушек к порабощению, счастьем и несчастьем, и посвятить себя лишь своему призванию. Во все эпохи все женщины, горевшие желанием стать великими живописцами или великими музыкантами, пренебрегали любовью и материнством.

Мари создала себе свой мир, неумолимо требовательный и признающий одну страсть — науку. Конечно, в нем находили свое место и родственные чувства, и любовь к порабощенной отчизне. Но только это! Ничто другое не имеет значения, не существует. Таково жизненное кредо двадцатилетней девушки, которая одиноко живет в Париже и каждый день встречается в Сорбонне и в лаборатории с юными студентами.

Ее обуревают научные идеи, ее преследует бедность, изводит напряженная работа. Ей неведома праздность, чреватая опасностями. Гордость и робость служат ей защитой. А также недоверие: с той поры, как семья З. не пожелала иметь ее невесткой, Мари пришла к убеждению, что бесприданницам нельзя найти в мужчинах ни преданности, ни нежных чувств. Укрепив себя прекрасными теориями и горькими воспоминаниями, она цепляется за независимость.

Не удивительно, что даровитая полька, обреченная самой бедностью на уединение, сохраняет себя для творческой работы. Но поразительно и чудесно, что даровитый ученый, француз, сберег себя для этой польки и подсознательно ждал ее. Еще тогда, когда Мари жила на Новолынской улице и лишь мечтала о Сорбонне, Пьер Кюри, придя как-то домой из Сорбонны, где он уже сделал несколько важных физических открытий, записал в своем дневнике печальные строки:

«...Женщина гораздо больше нас любит жизнь ради жизни, умственно одаренные женщины — редкость. Поэтому, если мы, увлекшись некою мистической любовью, хотим пойти новой, не обычной дорогой и отдаем все наши мысли определенной творческой работе, которая отдаляет нас от окружающего человечества, то нам приходится бороться против женщин. Мать требует от ребенка прежде всего любви, хотя бы он при этом стал дураком. Любовница стремится к власти над любовником

и будет считать вполне естественным, чтобы самый одаренный мировой гений был принесен в жертву часам любви. Эта борьба почти всегда неравная, так как на стороне женщин законная причина: они стремятся обратить нас вспять во имя требован- ний жизни и естества».

Минули годы. Пьер Кюри, преданный душой и телом науч- ным изысканиям, так и не женился ни на одной из малоинте- ресных или просто миленьких девиц, с которыми пришлось встречаться. Ему тридцать пять лет. Он никого не любит. Ког- да он ради развлечения перелистывает свой давно заброшен- ный дневник и перечитывает уже выцветшие строки бывших заметок, четыре слова, полные грусти и глухой тоски, остано- вляют его взгляд: «Умственно одаренные женщины — редкость».

* * *

«Когда я вошла, Пьер Кюри стоял у стеклянной двери, выходившей на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя ему исполнилось в то время тридцать пять лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная непринужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро пе- решедший в дружескую беседу: он занимался такими научны- ми проблемами, относительно которых мне было очень интере-сно знать его мнение».

В таких простых, стыдливых выражениях Мари опишет свою первую встречу, случившуюся весной 1894 года.

Один поляк, господин Ковальский, профессор физики во Фрейбургском университете, приезжает во Францию со своей женой, еще раньше познакомившейся с Мари в Шуках. Это не только свадебное путешествие, но и научное. Господин Ко- вальский читает в Париже доклады, присутствует на заседа- ниях Физического общества. Приехав в Париж, он навел справки о Мари, дружески расспросил о житье-бытье. Студентка подели- лась с ним своими заботами. Общество поощрения националь- ной промышленности заказало ей работу о магнитных свойствах различных марок стали, и она начала исследования в лабора- тории профессора Липпмана. Но ей необходимо делать анализы минералов и распределять по группам образцы металлов, а это требует громоздких установок — чересчур громоздких для этой лаборатории, и без того перегруженной. Теперь Мари не знает, как ей быть, где организовать опыты.

— У меня есть идея, — ответила Ковальский после некоторого раздумья. — Я знаком с одним молодым ученым, который работает в Школе физики и химии на улице Ломон. Может быть, у него найдется подходящее помещение. Во всяком случае, он вам даст нужный совет. Заходите к нам завтра вечером на чашку чая. Я попрошу этого молодого человека прийти. Вы, наверно, слышали о нем — его зовут Пьер Кюри.

В течение вечера, проведенного в комнате тихого семейного пансиона, где поселились Ковальские, непосредственная взаимная симпатия сближает двух физиков — француза и польку.

У Пьера Кюри совсем особенное обаяние, сочетающее большую серьезность с беспечной мягкостью. Он высокого роста. Ему очень идет свободная одежда немодного, широкого покроя. Он обладает естественным изяществом, сам не подозревая о том. Кисти рук удлиненные. Правильное, малоподвижное лицо с жесткой бородкой. Оно красиво благодаря бесподобию ясному взгляду кротких глаз. Взгляд глубокий, отрешенный от всего окружающего. Он всегда сдержан, никогда не повышает голоса; в нем объединяются могучий ум и благородная душа.

То влечение, какое он почувствовал с самого начала к мало-разговорчивой иностранке, усиливалось любопытством. Эта мадемуазель Складовска поистине удивительная личность. Оказывается, она полька и приехала из Варшавы слушать лекции в Сорбонне. В прошлом году первой выдержала экзамены и получила степень лиценциата по физике, а через несколько месяцев — по математике. А если между ее пепельно-серыми глазами залегла маленькая складка озабоченности, так это оттого, что она не знает, где ей устроиться со своей аппаратурой для исследования магнетизма различных марок стали.

Разговор, сначала общий, скоро переходит в научный диалог между Пьером Кюри и Мари Складовской. Девушка с оттенком почтительности задает вопросы и слушает указания Пьера. Как это странно, думает Кюри, говорить с молодой очаровательной женщиной о любимой работе, употребляя технические термины, называя сложные формулы, и в то же время видеть, что она воодушевляется, все понимает и даже иногда возражает с ясным пониманием дела... Как это приятно!

Он смотрит на волосы, на выпуклый лоб Мари, на ее руки, пострадавшие от кислот в лаборатории и от домашних работ. Ее прелесть, особенно заметная благодаря отсутствию кокетства, сбивает его с толку. Он вспоминает, что говорил ему Ковальский об второй девушке, когда приглашал его к себе: прежде чем сестра в поезд на Париж, она работала годами, у нее нет денег, живет одна, в мансарде...

— Вы навсегда останетесь во Франции? — спрашивает он мадемуазель Склодовску, сам не зная почему.

По лицу Мари пробегает тень. И она говорит своим певучим голосом:

— Конечно, нет. Если этим летом я выдержу окончательный экзамен, то вернусь в Варшаву. Мне бы хотелось опять приехать сюда осенью, но не знаю, хватит ли на это средств. Позже я стану профессором в Польше и постараюсь быть полезной родине. Поляки не имеют права бросать отечество!

Вмешиваются Ковальские, и разговор переходит на тяжкие притеснения поляков. Три изгнанника вспоминают о родной земле, обмениваются новостями о родных, друзьях. Удивленный и чем-то недовольный, Пьер Кюри слушает рассуждения Мари о своих патриотических обязанностях.

Всецело поглощенный физикой, ученый не понимает, как у этой исключительно одаренной девушки хоть одна мысль может быть занята не наукой и как она может думать о том, чтобы тратить силы на борьбу с царизмом.

Ему хотелось бы ее увидеть еще раз. Еще много раз.

* * *

Кто такой Пьер Кюри?

Даровитый французский ученый, малозвестный в своей стране, но высоко ценимый своими заграничными собратьями.

Родился в Париже, на улице Кювье, 15 мая 1859 года. Он второй сын врача Эжена Кюри, тоже сына врача. Эта семья эльзасского происхождения и протестантского вероисповедания. Кюри, когда-то скромные мещане, становились из поколения в поколение людьми образованными, учеными. Отец Пьера, вынужденный заниматься врачебной практикой для заработка, был горячим поклонником научных исследований. Он занимал место ассистента в лаборатории Музея естественной истории и написал несколько работ о противотуберкулезных прививках.

Обоих сыновей, Жака и Пьера, еще с детства влекла к себе наука. Пьер с независимым умом, мечтатель, не мог поладить с дисциплиной и систематическим трудом в лицее. Доктор Кюри понял, что этот своеобразный мальчик никогда не станет блестящим учеником в школе, поэтому сначала занимался его образованием сам, а затем поручил его отличному преподавателю — господину Базиллю.

Свободное воспитание приносит свои плоды: Пьер в шестнадцать лет сдает экзамен на аттестат зрелости, а в восемнадцать получает диплом лиценциата. Еще через год он занимает место у профессора Дезена на факультете естествознания и ос-

тается на этой должности пять лет. Он занимается научными исследованиями вместе с братом Жаком, тоже лицензиатом и препаратором в Сорбонне. Вскоре два юных физика совместно заявляют об открытии очень важного явления — пьезоэлектричества, а экспериментальная работа приводит их к изобретению нового прибора — кварцевого пьезометра, используемого для преобразования электрических процессов в механические, и наоборот. В 1883 году братья с грустью расстаются. Жак назначен профессором в Монпелье; Пьер возглавляет практические научные работы студентов в Парижской школе физики и химии. Хотя кто и отнимает у него много времени, Пьер продолжает свои теоретические работы по физике кристаллов. Эти работы заканчиваются изложением «принципа симметрии», который станет одной из основ современной науки.

Взявшись за свои экспериментальные работы, Пьер Кюри изобретает и конструирует для научных целей ультравесы, так называемые весы Кюри, затем предпринимает исследования по магнетизму и достигает блестящего результата, открыв основной закон — «закон Кюри».

За эти достижения, имевшие блистательный успех, за постоянные заботы о порученных ему тридцати учениках Пьер Кюри в 1894 году, после пятнадцати лет работы, получает от французского правительства месячный оклад в триста франков — почти столько же, сколько квалифицированный рабочий на заводе.

Когда знаменитый английский ученый лорд Кельвин приехал в Париж, он отправился в Физическое общество слушать доклад Пьера Кюри. Этот прославленный старец пишет письмо молодому физiku, говорит с восхищением о его работах и просит назначить личное свидание.

Лорд Кельвин — Пьеру Кюри, август 1893 года:

«Дорогой господин Кюри, бесконечно благодарен Вам, что Вы потрудились доставить мне созданный Вами с братом прибор, который дает мне возможность так удобно наблюдать великолепное экспериментальное явление пьезоэлектричества.

Я написал заметку для «Философского журнала», уточнив, что Ваши работы предшествовали моим работам. Эта заметка, вероятно, попадет вовремя, чтобы появиться в октябрьском номере, а если нет, то уж, наверно, в ноябре...»

13 октября 1893 года:

«Дорогой господин Кюри, надеюсь завтра вечером приехать в Париж, и был бы Вам очень признателен, если бы Вы

могли назначить, в какое время, с этого дня до конца недели, будет Вам удобно разрешить мне явиться к Вам в лабораторию...»

Во время их свиданий, когда два ученых часами обсуждали научные вопросы, английский ученый с великим удивлением узнал, что Пьер Кюри работает без сотрудников, в жалком помещении, лучшее свое время отдает плохо оплачиваемым обязанностям и что почти никто в Париже не знает имени физика, на которого он, лорд Кельвин, смотрит как на мастера науки.

* * *

Пьер Кюри — не только замечательный физик, но и человек совсем особого склада: когда некоторые лица предлагают ему выдвинуть свою кандидатуру на должность, которая улучшит его материальное положение, он отвечает:

— Мне сказали, что один из профессоров, быть может, уйдет в отставку, а в таком случае я должен выставить свою кандидатуру на его место. Быть кандидатом на чье-нибудь место — пакостное дело, я не привык к подобным упражнениям, в высшей мере развращающим человека. Я сожалею, что со мной об этом заговорили. Думаю, что нет ничего более пагубного для духа, как отдаваться таким заботам.

Представленный директором Школы физики к знаку отличия (академическим пальмам), Пьер отказывается в следующих выражениях:

«Господин Директор, господин Мюзе сказал мне, что Вы намерены снова предложить мою кандидатуру префекту для награждения знаком отличия.

Очень прошу этого не делать. Если Вы выхлопочете этот орден, я буду вынужден отказаться от него, так как твердо решил не принимать никаких отличий любого рода. Надеюсь, что Вы избавите меня от поступка, который поставит меня в несколько неловкое положение перед многими людьми.

Если Ваше намерение вызвано желанием доказать Ваше участие ко мне, то Вы это уже доказали и гораздо более действенным путем, предоставив мне возможность для работы по моему желанию, чем я был весьма тронут.

Примите уверения в моей преданности».

Пьер Кюри — и писатель, во всяком случае мог бы стать писателем. У этого человека, получившего такое оригинальное воспитание, есть свой стиль, — своеобразный, изящный, уверенный.

Мотто:

«Одурять погремушкой ум, который хочет мыслить»*.

«Чтобы я, человек слабый, не пустил мою башку гулять на все четыре стороны по воле малейшего встречного ветерка, необходима полная неподвижность всего вокруг меня или же мне надо самому завертеться так, как крутится гудящий волчок, и тогда уже само движение сделает меня невосприимчивым к окружающим вещам.

Если же я, стараясь закрутить себя волчком, сначала начинаю кружиться медленно, то в это время какой-нибудь пустяк — одно слово, чей-нибудь рассказ, газета, гость — останавливает меня, не дает мне стать гироскопом, или волчком, и может отодвинуть или задержать навсегда ту минуту, когда я, получив достаточную скорость, мог бы, несмотря на окружающее, сосредоточиться в самом себе.

Нам надо есть, пить, спать, бездельничать, любить, то есть касаться самых приятных вещей в этой жизни, и все же не поддаваться им. Но, делая все это, необходимо, чтобы те противные нашему естеству мысли, которым мы посвятили себя, оставались господствующими и продолжали свое бесстрастное движение в нашей бедной голове. Надо жизнь превращать в мечту, а мечту — в реальность».

Словом, в нем совмещались поэт и артист.

«Что будет со мной дальше? — писал он в дневнике за 1881 год. — Я очень редко целиком принадлежу себе; обычно часть моего существа спит. Мне кажется, что с каждым днем мой ум все больше увядает. Прежде я пускался в рассуждения, научные, да и другие, теперь же я чуть касаюсь тем и не даю себе растворяться в них целиком. А как много, много мне надо сделать!»

Бедный мой ум, неужели ты так слаб, что не в силах воздействовать на мое тело? О мои мысли! Отчего вы не можете всколыхнуть мой бедный ум? Значит, вы ничтожны! А вы, самолюбие и честолюбие, разве вы не могли бы хоть подтолкнуть меня, неужели вы позволите мне жить такой жизнью? Я больше всего готов поверить в свое воображение, в то, что оно вытащит меня из обычной колеи, быть может, оно прельстит мой ум и увлечет его вслед за собой, но боюсь, что оно умерло...»

* Виктор Гюго. Король забавляется.

Поэт, а вместе с ним и физик был покорен Мари Склодовской. Пьер Кюри мягко, но настойчиво ищет сближения с польской девушкой. Два или три раза он виделся с ней на заседаниях Физического общества, где она слушала сообщения ученых о новых открытиях. В знак уважения он послал ей оттиск своей последней статьи «О симметрии в физических явлениях. Симметрия электрического и симметрия магнитного полей», а на первой странице надписал: «Мадемуазель Склодовской в знак уважения и дружбы автора». Он заметил ее в лаборатории у Липпмана, где она, одетая в парусиновый халат, стояла, молча склонившись над своей аппаратурой.

Позже он попросил у нее разрешения явиться к ней с визитом. Мари дала ему адрес: улица Фейяитинок, 11.

Дружески сдержанно она приняла его в своей комнатке, и Пьер, скорбя душой при виде такой бедности, все же оценил тончайшее созвучие между этой личностью и обстановкой. Никогда еще Мари не казалась ему такой красивой, как в этом убогом жилище, в поношенном платье, с пылким и упрямым выражением лица. Ее юная фигура, похудевшая от аскетического существования, не могла найти для себя лучшего обрамления, чем нищенская мансарда.

Проходит несколько месяцев. По мере роста их взаимного уважения и симпатии крепнет дружба, растут интимность, взаимное доверие. Пьер Кюри уже пленен этой полькой с ясным и развитым умом. Он подчиняется ей и прислушивается к ее советам. Под ее влиянием он вскоре сбрасывает с себя ленивую беспечность, снова берется за свои работы по магнетизму и блестяще защищает докторскую диссертацию.

Сама Мари считает себя пока свободной. По-видимому, она не расположена услышать решительный вопрос, а ученый-физик не решается его задать.

В этот вечер, быть может, в десятый раз встретились они в комнатке на улице Фейяитинок. Июнь, прекрасная погода, послеобеденное время. На столе среди книг по математике, необходимых для подготовки к наступающим экзаменам, стоит стакан с несколькими белыми ромашками, принесенными Пьером и Мари с совместной прогулки. Мари наливает чай, подогретый на неизменной спиртовке.

Физик только что рассказывал подробно об одной своей работе, которой сейчас занят. Затем сразу, без перехода, говорит:

— Мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с моими ро-

дителями. Я живу с ними в Со, где мы снимаем домик. Они чудесные люди...

И он описывает Мари своего отца, высокого, нескладного старика, с живыми голубыми глазами, очень умилого, кипучего, бурлявого, как молочный суп, и в то же время на редкость доброго: свою мать, удрученную недугами, но искусную хозяйку, мужественную и веселую. Припоминая свое прекрасное детство, описывает бесконечные блуждания по лесам вдвоем с братом Жаком.

Мари слушает и удивляется: сколько совпадений, сколько таниственного сходства! Только переменить некоторые детали, перенести домик из Со на одну из варшавских улиц, и семья Кюри превратится в семью Склодовских. Если отбросить религиозный вопрос (доктор Кюри — вольнодумец и антиклерикал, не крестил своих сыновей), это такая же разумная и честная семья. То же уважение к культуре, такая же тесная сплоченность между родителями и детьми, та же любовь к природе...

Мари оживает и с улыбкой на лице рассказывает о своих веселых каникулах в польской деревне, в такой же, какую она вновь увидит через несколько недель.

— Но в октябре вы вернетесь? Обещайте, что придете опять. Если вы останетесь в Польше, вам будет невозможно продолжать свои занятия. Теперь вы не имеете права бросать науку!

В этих словах Пьера сказывается глубокое, томительное беспокойство. Мари понимает, что словами: «Вы не имеете права бросать науку» — он хочет сказать: «Вы не имеете права бросать меня».

Долгое время они молчат. Затем, подняв на Пьера свои пельно-серые глаза, Мари отвечает еще нетвердым голосом:

— Думаю, что вы правы. Мне очень хотелось бы вернуться.

* * *

Пьер несколько раз возобновлял разговор о будущем. Наконец он прямо предложил Мари стать его женой. Но эта попытка потерпела неудачу. Выйти замуж за француза, навсегда бросить свою семью, отказаться от патриотической деятельности, расстаться с Польшей — все это казалось панине Склодовской каким-то ужасным предательством. Она не может! Не должна! Она блестяще выдержала экзамены, и теперь надо ехать в Варшаву, по крайней мере на лето, а может быть, и навсегда. При расставании с опечаленным Пьером она предлагает ему дружбу, уже недостаточную для него, и садится в поезд, ничего не пообещав...

Мысленно он следует за ней. Ему хотелось бы присоединиться к ней или в Швейцарии, где она проведет несколько недель со своим отцом, выехавшим ей навстречу, или же в Польше, в той самой Польше, к которой он ее ревнует. Но это невозможно...

Тогда он издали продолжает вести начатое дело. Где бы ни была Марн в это лето — в Креттаже, Львово, Кракове или в Варшаве — ее настигают письма, написанные корявым, немногочисленным детским почерком, они стремятся убедить, вернуть ее обратно, напоминая, что ее ждет Пьер Кюрн.

Письма прекрасные, чудесные...

Пьер Кюрн — Марн Складовской, 10 августа 1894 года:

«Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как вести о Вас. Перспектива ничего не слышать о Вас в течение двух месяцев представлялась мне крайне неприятной, а это значит, что посланное Вами письмецо было желанной вестью.

Надеюсь, что Вы хорошо отдыхаете и в октябре вернетесь к нам. Что касается меня, то я не отправился путешествовать, а остался в деревне, где целыми днями сижу у окна или в саду.

Мы дали обещание друг другу (неправда ли?) быть по крайней мере в большой дружбе. Только бы Вы не изменили своего намерения! Ведь прочных обещаний не бывает, такие вещи не делаются по заказу. А все-таки как было бы прекрасно то, чему я не решаюсь верить, а именно провести нашу жизнь друг подле друга, замороженными нашими мечтами: Вашей патриотической мечтой, нашей общечеловеческой мечтой и нашей научной мечтой.

Из всех них, по моему мнению, только последняя законна. Я хочу этим сказать, что мы бессильны изменить общественный порядок, да если бы и могли, не знали бы, что делать, и, начав действовать в том или другом направлении, никогда бы не были уверены, что не приносим больше зла, чем добра, задерживая какое-либо неизбежное развитие. В научной сфере как раз наоборот: мы можем рассчитывать на возможность сделать кое-что; в этой области почва крепче и вполне доступна, и как бы мало ни было достигнутое — это приобретение.

Видите, как все упиляется одно за другое. Мы условились быть близкими друзьями, но если через год Вы уедете из Франции, то дружба двух людей, которым не суждено видеться, будет уже слишком платонична. Не лучше ли остаться Вам со мной? Я знаю, что вопрос этот Вас раздражает, и я не стану больше говорить об этом, да и сознаю, что ни в какой степени не достоин Вас со всяких точек зрения.

У меня была мысль попросить у Вас разрешения встретиться с Вами нечаянно во Фрейбурге. Но ведь, наверно, Вы там пробудете только один день, да и весь этот день Вы будете, конечно, принадлежать нашим друзьям Ковальским.

Будьте уверены в преданности вашего Пьера Кюри.

Я был бы счастлив, если бы Вы сообразовали написать мне и заверить, что в октябре собираетесь вернуться. Письма доходят до меня быстрее, если написать прямо в Со: Пьеру Кюри, 13, улица де Саблон в Со (Сена)».

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 14 августа 1894 года:

«Я так и не решился приехать к Вам, целый день я колебался, прежде чем пришел к отрицательному выводу. Первое впечатление от Вашего письма внушило мне, что мой приезд Вам не особенно желателен. Второе, что Вы все-таки очень любезно предоставляли мне возможность провести вместе три дня, и я собрался было ехать. Но затем мне стало как-то стыдно преследовать Вас, почти что против Вашей воли, и, наконец, мое решение остаться здесь было вызвано своего рода уверенностью, что мое присутствие будет неприятно Вашему отцу, лишив его удовольствия гулять с Вами вдвоем.

Теперь, когда время уже ушло, я сожалею, что не поехал. Как знать? Быть может, наша взаимная дружба стала бы прочнее оттого, что мы провели бы три дня вместе и укрепились бы в стремлении не забыть друг друга за два с половиной месяца нашей разлуки.

Вы не фаталистка? Помните день карнавала? Я вдруг потерял Вас в толпе. Мне кажется, что наши дружеские отношения оборвутся также вдруг и независимо от нашего желания. Я не фаталист, но такой разрыв может явиться следствием наших характеров. В нужный момент я не сумею действовать.

Впрочем, для Вас это будет хорошо, так как, и сам не знаю почему, я вбил себе в голову удержать Вас во Франции, отнять Вас от родины и семьи, не имея ничего хорошего предложить Вам взамен этой жертвы.

По-моему, Вы несколько преувеличиваете, уверяя, что вполне свободны. Все мы, по крайней мере, рабы наших привязанностей, рабы предрассудков, даже не своих, а дорогих нам лиц, мы должны зарабатывать себе на жизнь и вследствие этого становимся лишь колесиком в машине.

Самое тяжкое — это те уступки, какие приходится делать предрассудкам окружающего нас общества, большие или меньшие, в зависимости от большей или меньшей силы своего характера. Если делаешь их слишком мало, тебя раздавят. Если делаешь

чересчур много, то унижаешь себя и делаешься противен самому себе. Вот и я уже отошел от тех принципов, каких придерживался десять лет тому назад: в то время я думал, что надо держаться крайности во всем и не делать ни одной уступки окружающей среде. Я думал, что надо преувеличивать и свои достоинства, и свои недостатки, носил только синие блузы, как у рабочих, и т. п.

Словом, Вы видите, я очень постарел и чувствую себя уставшим...

Желаю Вам много удовольствий.

Ваш преданный друг

П. Кюри».

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 7 сентября 1894 года:

«...Как Вы и сами можете предполагать, Ваше письмо меня тревожит. Я горячо советую Вам вернуться в Париж в октябре. Меня крайне огорчит, если Вы не приедете в этом году. Не из дружеского эгоизма я говорю Вам: возвращайтесь. Мне только кажется, что здесь Вы будете работать лучше и делать свое дело основательнее и с большей пользой.

...Что подумали бы Вы о человеке, если бы ему пришлось в голову пробить лбом стену из тесаного камня? А ведь такая мысль может явиться в результате наилучших побуждений, но по существу она нелепа и смешна.

Я полагаю, что определенные вопросы требуют общего решения и в настоящее время уже не допускают ограниченного, местного решения, а когда вступаешь на путь, который ведет в тупик, то можно наделать много зла. Я полагаю также, что справедливости нет на этом свете и что побеждает наисильнейший. Человек измучает себя работой, а все-таки живет нищим. Это возмутительно, но от этого ничего не изменится. А если перемены и будут, то только потому, что человек — своего рода машина: с точки зрения экономики выгодно пользоваться любой машиной, соблюдая нормальный режим работы, не насиловать ее.

У Вас удивительные понятия об эгоизме. Когда мне было двадцать лет, меня постигло большое горе — я потерял подругу детства, которую я очень любил, при ужасных обстоятельствах; у меня не хватает мужества рассказать Вам все... После ее гибели меня и днем, и ночью преследовали кошмары, мне доставляло какое-то удовольствие терзать самого себя. Затем я стал жить, как живут монахи, потом дал себе обет интересоваться лишь наукой и больше не думать ни о людях, ни о самом себе. Уже впоследствии я часто спрашивал себя, не было ли это от-

речение от жизни простой уловкой перед самим собой, чтобы иметь право все забыть...

Можно ли в Вашей стране свободно переписываться? Я сильно сомневаюсь в этом и думаю, что впредь лучше не заниматься в наших письмах такими рассуждениями, которые, несмотря на чисто философский их характер, могут быть дурно истолкованы и причинить Вам неприятности.

Если Вы соблаговолите мне написать, то адресуйте: 13, улица Саблон.

Ваш преданный друг

Пьер Кюри.

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 17 сентября 1894 года:

«Меня очень встревожило Ваше предыдущее письмо, я чувствовал, что Вы смущены и в нерешительности. Но письмо из Варшавы успокоило меня, я чувствую, что к Вам вернулось спокойствие. Ваш портрет мне очень нравится. Какая хорошая мысль прислать мне его, благодарю Вас от всего сердца.

Наконец-то Вы приседаете в Париж, и это меня очень радует. Я горячо желаю, чтобы мы стали по меньшей мере неразлучными друзьями. Того ли мнения придерживаетесь и Вы?

Если бы Вы были француженкой, Вы легко стали бы здесь преподавательницей в каком-нибудь лицее или нормальной школе для девиц. По душе ли Вам эта профессия?

Ваш преданный друг

Пьер Кюри.

Я показал Вашу фотографию своему брату. Не виноват ли я? Он нашел, что Вы очень хороши. И добавил: «Вид у нее решительный, даже строптивый!»

* * *

Вот и октябрь. Сердце Пьера преисполнено счастьем. Мари сдержала обещание и вернулась в Париж. Ее видят и на лекциях в Сорбонне, и в лаборатории Липпмана. Но в этом году — по ее предположениям, последнем для нее во Франции — она живет уже не в Латинском квартале. Броня уступила ей комнату при своем приемном кабинете, который она открыла на улице Шатодэн, 39. Так как Длуесские живут на улице Ля Вийет и Броня приходит на улицу Шатодэн только днем, Мари может работать там спокойно.

В этой-то мрачной, немного печальной комнате Пьер продолжает говорить ей о своих чувствах. По-моему, он так же упорен, как Марн. В нем сидит та же вера, что и у будущей его

жены, но еще более целостная, еще более свободная от всякой примеси. Наука для него — единственная цель. Поэтому его любовная история своеобразна, почти невероятна, поскольку в ней перемешиваются в одно и сердечное влечение, и основное стремление его ума. Человека науки тянет к Мари и порыв страсти, и в то же время высшая духовная потребность.

Он готов пожертвовать тем, что люди зовут счастьем, ради счастья, известного только ему. Он предложил Мари проект, на первый взгляд до того ошеломляющий, что мог бы сойти за хитрость, но в действительности вполне логично вытекавший из натуры Пьера. Если Мари его не любит, то не согласится ли она на чисто дружескую сделку: работать в квартире на улице Муфтар, где окна выходят на сады, а всю квартиру можно разделить на две независимые друг от друга половины?

Или же он, Пьер Кюри, поселится в Польше, но ведь тогда ей неизбежно придется выйти за него замуж? Вначале он будет давать уроки французского языка, а после, худо ли, хорошо ли, он вместе с ней займется научной работой.

Перед бывшей гувернанткой, когда-то встретившей пренебрежение со стороны семьи польских помещиков, предстает скромным просителем этот единственный в своем роде человек.

Мари делится с Броней своими колебаниями и рассказывает о предложении Пьера, о его готовности покинуть родину. Она лично не считает себя вправе принять такую жертву, но потрясена самым фактом подобного предложения со стороны Пьера.

Узнав, что Мари говорила о нем у Длусских, Пьер принимает натиск и с этой стороны. Он заходит к Броне, с которой уже не один раз встречался, всецело привлекает ее на свою сторону и приглашает вместе с Мари в Со, к своим родителям. Супруга доктора Кюри отводит Броню в сторону, настойчиво и проникновенно просит ее повлечь на младшую сестру.

— Нет в мире человека такого, как мой Пьер, — говорит она. — Пусть ваша сестра не колеблется. Ни с кем она не будет так счастлива, как с ним!

Но пройдет еще десять месяцев, прежде чем Мари свыкнется с мыслью о замужестве. Как истая «развитая» духовно славянка, она обуреваема всякими теориями о жизни, о своем долге. Некоторые из ее теорий прекрасны и великодушны, другие — одно ребячество. Конечно, не они — и Пьер это давно понял — определяют превосходство Мари как человека. Ученый невысоко ценит те жизненные правила, какие у Мари являются общими с несколькими тысячами ее культурных соотечественников. То, что его привлекает и так чарует в ней, — это ее пол-

ная преданность научной работе, предчувствие ее одаренности, а также ее мужество и благородство. У этой изящной девушки и характер, и дарования большого ученого.

А ее правила? Но ведь он тоже долго жил по правилам, пока жизнь не взялась показать ему всю их нелепость. Он тоже давал себе слово не жениться. Трагический конец пылкой любви в юности принудил его уйти в самого себя и вычеркнуть женщин из жизни. Он решил никогда не влюбляться. Это благое желание охранило его от пошлого союза и сберегло для встречи с женщиной редкой, созданной для него. Теперь он не совершит глупости, упустив возможность большого счастья и чудесного сотрудничества. Он хочет, чтобы эта девушка-полька, эта женщина-физик, ставшая для него необходимой, принадлежала ему.

Свои намерения он мягко излагает мадемуазель Складовской. Благодаря такого рода разговорам, да и другим, более нежным, благодаря взятой над ней опеке, благодаря непреодолимому, глубокому очарованию своей личности Пьер Кюри мало-помалу превращает бывшую отшельницу в живого человека.

* * *

14 июля 1895 года брат Мари, Юзеф, присылает ей из Варшавы теплое согласие семейства Складовских:

«...Поскольку ты теперь невеста господина Кюри, я прежде всего шлю тебе мои самые искренние пожелания найти в замужестве столько же счастья и радости, сколько ты заслуживаешь, и по моему мнению и по мнению всех, кто знает твое прекрасное сердце и твой характер.

Я думаю, что ты права, следуя велению сердца, и ни один справедливый человек не может упрекнуть тебя за это. Зная тебя, я убежден, что всей своей душой ты навсегда останешься полькой, а своим сердцем никогда не перестанешь быть членом нашего семейства. Мы тоже никогда не перестанем тебя любить и смотреть на тебя, как на родную.

...Для меня во сто раз лучше знать, что ты живешь в Париже счастливой и довольной, чем видеть тебя здесь сокрушенной, если бы ты вернулась на родину ценою своей разбитой жизни и жертвой чересчур утонченного представления о своем долге. Теперь во что бы то ни стало мы должны видеться как можно чаще. Крепко целую тебя, дорогая Маня, и еще раз желаю тебе счастья, радости, успеха. Передай своему жениху мой теплый привет. Скажи ему, что я с удовольствием принимаю его как будущего члена нашей семьи и предлагаю ему мою

безусловную дружбу и симпатию. Надеюсь, что и он будет питать ко мне уважение и дружбу.

Искренне любящий тебя брат

Юзеф».

Спустя несколько дней Мари пишет подруге Казе и сообщает о своем важном решении:

«Когда получишь это письмо, твоя Маня уже переменит свою фамилию. Я выхожу замуж за того человека, о котором говорила тебе в Варшаве прошлым летом. Мне очень прискорбно остаться навсегда в Париже, но что поделаешь? Судьбе было угодно, чтобы мы глубоко привязались друг к другу, и мысль о разлуке для нас невыносима.

Я не писала тебе потому, что все решилось совсем недавно и очень быстро. Целый год я колебалась и не знала, на что решиться. В конце концов я примирилась с мыслью остаться здесь. Как только получишь письмо, напиши:

Мадам Кюри. Школа физики и химии, улица Ломон, 42.

Так буду я зваться впредь. Мой муж — профессор в этом институте. В будущем году я привезу его в Польшу познакомиться с моей родиной и представлю его непременно моей названной сестре, а ее попрошу любить его».

26 июля 1895 года Мари в последний раз просыпается в комнате на улице Шатодэн. Чудесная, ясная погода. В лице девушки что-то новое, сияющее, чего не знали ее университетские подруги. Сегодня панна Скловская станет мадам Пьер Кюри.

Она причесывает свои восхитительные волосы, надевает «подвенечное» платье — подарок старухи-матери Казимежа Длусского.

«У меня нет платья, кроме того, что на мне, — сказала ей Мари. — Если вы так добры и собираетесь подарить мне другое, то мне бы хотелось темное, вполне практичное, какое я могла бы потом носить в лаборатории». Под руководством Броин дешевая портниха с улицы Данкур, мадам Гле, сшила костюм из темно-синей шерстяной материи и синюю блузку со светло-голубыми полосками, которая так красит, так молодит Мари.

Мари по душе сама идея сегодняшнего бракосочетания, этого большого дня, обещающего быть даже в мелочах не таким, как у всех. Ни белого платья, ни золотых колец, ни свадебного пира. Никакого церковного обряда: Пьер — вольнодумец, а она перестала ходить в костел. Не будет и нотариуса, так как у сочетающихся браком нет ровно ничего, ничего, кроме двух сверкающих велосипедов, купленных вчера благодаря денежному

свадебному подарку одного родственника; летом они на них станут ездить за город.

Да, их свадьба будет прекрасной, ее свидетелем не станут ни равнодушные, ни пустое любопытство, ни зависть. У мэра в Со, а затем у родителей Пьера, в саду на улице Саблон, будут Броня, Казимеж, несколько самых близких друзей из университета и приехавший из Варшавы вместе с Элей старик Складовский, считающий вопросом своей чести говорить со старым доктором Кюри на безупречном французском языке.

Прежде всего он ему скажет взволнованно, но тихо слова, идущие от доброты его души:

— Мари будет вам дочерью, достойной любви. Никогда, со дня своего появления на свет, она ничем меня не огорчала.

* * *

Пьер зашел за Мари на ее квартиру. Им надо ехать до Люксембургского вокзала и сесть на поезд, идущий в Со, где ждут родные. Сидя на империае омнибуса, при веселом свете солнца они едут вдоль бульвара Сен-Мишель и с высоты своей триумфальной колесницы смотрят на проходящие перед глазами знакомые места.

Проезжая мимо Сорбонны, мимо входа на факультет естествознания, Мари чуть крепче сжимает локоть Пьера, ловя глазами его сияющий, умнотворенный взгляд.

МОЛОДОЖЕНЫ

Чудесны первые дни совместной жизни. На своих знаменитых велосипедах Пьер и Мари разъезжают по дорогам Иль-де-Франса. В багажники втиснуто кое-что из платья и два длинных прорезиненных плаща, купленных поневоле — из-за дождливого лета. Усевшись на мшистой полянке где-нибудь в лесу, они завтракают хлебом с сыром, персиками и вишнями. Вечером останавливаются в первой попавшейся гостинице. Там они получают густой горячий суп и комнату, оклеенную выцветшими обоями, по которым пляшут тени от свечи.

Когда им хочется обследовать лесные заросли или скалы, они прерывают свое путешествие прогулкой пешком. Пьер страстно любит природу, и, несомненно, длинные молчаливые прогулки необходимы его дарованию, ровный ритмичный шаг способствует размышлениям ученого. Он не может оставаться бездеятельным даже в саду. Он не умеет «просто отдыхать». Не любит и классических прогулок по намеченным маршрутам.

Не признает определенности во времени. Почему принято гулять только днем, а не ночью, затем назначать точные, неизменные часы для еды? Пьер привык с детства уходить из дому как-то вдруг, то на утренней заре, то в сумерках, не зная, вернется ли он через час или через три дня. О своих прогулках вместе с братом он сохранил удивительные воспоминания:

«О! Как хорошо провел время в этом благодатном безлюдье, вдали от множества досадных мелочей, терзающих меня в Париже. Нет, я не жалею о ночах в лесу и днях, проведенных в одиночестве. Будь у меня свободное время, я дал бы себе волю рассказать о множестве разнообразных трез, каким я предавался там. Хотелось бы мне описать прелестную долину, благоухающую ароматами растений; красивый лес, густой и влажный, пересеченный речкой Бьевр; дворец фей с колоннами, затянутыми хмелем; скалистые холмы, все красные от вереска, где было так приятно посидеть. Да, постоянно, с глубокой благодарностью я буду вспоминать о лесу; из всех знакомых уголков он мой самый любимый, и в нем я чувствовал себя наиболее счастливым. Я уходил туда нередко вечером и шел моей долиной, и оттуда я возвращался с двумя десятками разнообразных идей в голове...»

В 1895 году такие «свадебные вылазки» стали еще приятнее: любовь приукрашивает и вдохновляет их. Несколько франков за комнату в деревне и тысячи нажимов на педали дают супругам роскошную возможность наслаждаться волшебными днями и ночами в полном уединении, только вдвоем.

Сегодня Пьер и Мари, оставив велосипеды в крестьянском домике и захватив с собой только компас и фрукты, шествуют по тропке куда-то наугад. Пьер идет впереди широким шагом. Мари, не отставая, следует за ним. Нарушая приличия, она укоротила юбки, чтобы идти свободнее. Голова не покрыта. На Мари белая, чистенькая, хорошенькая блузка, талия стянута кожаными, не очень изящным, но практичным поясом с кармашками, где лежат перочинный нож, деньги и часы.

Даже не оборачиваясь, чтобы поймать взгляд своей жены, Пьер громко излагает ход своих мыслей и говорит о трудности одной своей работы по кристаллографии. Он знает, что Мари слушает его, что она ему ответит, и ответ ее будет умным, оригинальным и полезным. У нее тоже большие планы. Она намерена подготовиться к конкурсу на получение звания преподавателя средней школы и почти уверена, что директор Школы физики Шютценбергер даст ей разрешение заниматься исследо-

ваниями в той же лаборатории, где работает и Пьер. Быть все время вместе! Никогда не расставаться!

Пробираясь сквозь лесные заросли, они доходят до берега маленького пруда, кругом поросшего тростником. Пьер с детской радостью исследует флору и фауну этого стоячего бассейна. Он превосходно знает всех животных: наземных и водяных, саламандр, стрекоз, тритонов. В то время как жена его улеглась на берегу, он ловко пробирается по стволу упавшего дерева и с риском упасть и искупаться тянется за желтыми ирисами, за белыми кувшинками, плавающими на воде.

Мари лежит неподвижно, почти дремля, и смотрит в небо, где проплывают облачка. Вдруг она вскрикивает, почувствовав на ладони что-то холодное и мокрое. Это зеленая трепещущая лягушка, которую Пьер осторожно положил ей на руку. Он это сделал не ради шутки; дружба с лягушками, на его взгляд, дело вполне естественное.

— Пьер... Послушай, Пьер! — возмущается она, пугливо отстраняясь.

Физик обижен.

— Неужели ты не любишь лягушек?

— Люблю, но не у себя в руках...

— Совершенно напрасно, — говорит он невозмутимо, — это так занятно — разглядывать лягушку. Раскрой тихонько пальцы... Ну посмотри, какая она миленькая!

Пьер снимает с ее руки лягушку, и Мари облегченно улыбается. Он кладет лягушку на берег, возвращая ей свободу. Но ему уже надоела остановка, он идет дальше по тропинке. Мари вскакивает и следует за ним, украсив голову веиком из кувшинок и желтых ирисов.

Вновь увлеченный неотступной мыслью о своей работе, Пьер сразу забывает и лес, и небо, и пруд, и лягушку. Он раздумывает о малых и больших трудностях в исследованиях, о волнующих тайнах роста кристаллов. Описывает аппаратуру, какую собирается создать для нового опыта. И снова слышит голос Мари, ее ясные вопросы, ее разумные ответы.

В эти счастливые дни завязываются прекраснейшие из уз, какие когда-либо соединяли мужчину с женщиной. Два сердца бьются в унисон, два тела сливаются воедино, два одаренных мозга привыкают мыслить сообща. Мари нельзя было выйти замуж ни за кого другого, кроме этого физика, умного и благородного человека. Пьеру нельзя было жениться ни на какой другой женщине, кроме этой белокурой, живой и нежной польки, которая умеет быть на протяжении нескольких минут ребячливой и серьезной, товарищем и подругой, ученым и возлюбленной.

Теплое, чудесное лето! В середине августа молодые супруги устраиваются в Шантийи, на ферме под названием «Козочка»: ее отыскала та же Броня и сняла на несколько месяцев это тихое жилище. Пьер и Мари поселяют у себя старушку Длузскую, Казимежа, Бронию, их дочку Елену, по прозвищу Лу, и старика Скловдовского с Элей, продливших свое пребывание во Франции. Очарование поэтического дома, одиноко стоящего в лесу, населенном фазанами и зайцами и устланным листвою ландышей. Очарование дружбы, сблизившей две нации и три поколения.

Пьер Кюри покорил семью своей жены. Он ведет научную беседу с месье Скловдовским, очень серьезно разговаривает с трехлетней Лу, общей любимицей, хорошей, забавной и веселой. Иногда насзывают из Со доктор Кюри с женой. Тогда разговор оживляется, переходит с химии на медицину, на воспитание детей, к общим взглядам на Францию, на Польшу.

В Пьере нет и следа недоверия к иностранцам, как это часто бывает у наших польских патриотов. Он очарован Скловдовскими и Длузскими. Чтобы доказать жене свою любовь к ним, он, несмотря на сомнения Мари, обязуется выучить польский язык, самый трудный из европейских языков, а так как Польша поработена, то и самый бесполезный.

В «Козочке» Пьер проходит курс «ополячивания», а в Со, куда он увозит в сентябре свою жену, наступает очередь Мари «офранцузиваться». Ей только этого и надо. Мари уже полюбила родителей мужа, теплота их чувств смягчит ее тоску, когда старик Скловдовский с Элей уедут к себе в Варшаву.

Женитьба Пьера на бедной иностранке, взятой с маисарды Латинского квартала, не оскорбила, не удивила таких исключительных людей, как старики Кюри. Мари пленила их с первых минут знакомства. И дело было не только в ее «славянском обаянии». Их удивляет и ее мужской ум, и ее твердый характер.

В числе новых впечатлений от окружающей среды в Со ее поразила пылкая политическая страстность свекра и его друзей. Доктор Кюри, увлеченный идеями 1848 года, был в близкой дружбе с радикалом Анри Бриссоном. Характер у него воинственный. Мари, воспитанная в борьбе против чужеземных угнетателей и преданности мирному общественному идеалу, знакомится теперь с политическими спорами, которые так нравятся французам. Она прислушивается к длинным прениям, к изложению кипучих теорий, задорных, но и великодушных. Устав от них, она бежит к мужу, молчаливому мечтателю, стоя-

шему в стороне от этих споров. Если воскресные гости стараются втянуть и Пьера в дружеское обсуждение событий сегодняшнего дня, физик мягко, как бы извиняясь, говорит им: «Я недостаточно крепок, чтобы приходить в гнев!»

Только дело Дрейфуса явилось тем редким исключением, когда Пьер Кюри потерял свою обычную сдержанность и бросился в политическую борьбу. Но и тогда поведение его было продиктовано не как-нибудь политической платформой: вполне естественно он стал на сторону невинного и преследуемого человека. Просто, как человек справедливый, он вступил в бой с вызывавшей в нем отвращение несправедливостью.

* * *

В новой квартире на улице Гласьер, 24, где с октября поселились молодожены, окна смотрят на деревья большого сада. Это единственная прелесть квартиры, на удивление лишенной комфорта.

Мари и Пьер ничего не сделали для украшения трех маленьких комнат. Даже отказались от мебелировки, предложенной им доктором Кюри. Каждый диван, каждое кресло — только лишний предмет для вытирания пыли по утрам и наведения лоска в дни общей уборки. У Мари нет ни сил, ни времени для этого. Да и к чему все эти диваны, кресла, раз молодые Кюри с обоюдного согласия отменили у себя прием гостей и вечеринки? Назойливый посетитель, взобравшийся на пятый этаж с целью потревожить молодых супругов в их берлоге, потеряет к этому всякую охоту, когда попадет в «кабинет» с голыми стенами, книжным шкафом и столом из простых досок. У одного конца стола стоит стул для Мари, у другого — для Пьера. На столе книги по физике, керосиновая лампа и букет цветов. Ничего больше. Очутившись перед двумя стульями и изумленными взорами Мари и Пьера, самому дерзкому не оставалось ничего другого, как бежать...

Пьер жил во имя одной идеальной цели: заниматься научными исследованиями бок о бок с любимой женщиной, живущей теми же интересами. Жизнь Мари сложнее: помимо любимого труда на нее падают все будничные, утомительные обязанности замужней женщины. Теперь она не может пренебрегать материальной стороной жизни так, как в свои студенческие годы. Первой ее покупкой после возвращения с каникул была счетоводная тетрадь в черном переплете с многозначительной надписью золотыми буквами «Расходы».

Пьер зарабатывает в Школе физики пятьсот франков в месяц. Пока Мари не получит диплома на право преподавания

во Франции, эти пятьсот франков останутся единственным средством существования супружеской четы.

Все было бы прекрасно: на эти деньги скромная семья может жить прилично. Беда в том, что надобно вставить в двадцать четыре часа все утомительные дела на данный день. Большую часть времени Мари проводит в лаборатории института, где ей отвели собственное место. Лаборатория, конечно, счастье! Но ведь там, на улице Гласьер, нужно убрать постель, подмести паркет. Надо, чтобы у Пьера было в полном порядке платье и приличная еда. А прислуги нет...

Мари встает очень рано, чтобы сходить на рынок, а в конце дня, возвращаясь под руку с Пьером из института, заходит к бакалейщику, к молочнику. Где те времена, когда беспечная мадемуазель Скловская не ведала таинственных ингредиентов, необходимых для приготовления бульона? Мадам Кюри считает долгом чести это знать! Как только вопрос о замужестве был окончательно решен, вчерашняя студентка стала тайно брать уроки по кулинарии у Бронн и старухи Длусской. Научилась жарить картофель и цыплят и честно готовит кушанья для Пьера, а он — сама снисходительность, да к тому же так рассеян, что даже не замечает ее стараний.

Ребяческое самолюбие подзадоривает Мари. Какой был бы удар, если бы ее свекровь-француженка в один прекрасный день, взглянув на неудавшийся омлет, спросила, чему же учат варшавских девушек? Мари читает, пересчитывает поваренную книгу, добросовестно делает на полях отметки, описывая в строго научных терминах свои опыты, провалы и успехи.

Она изобретает блюда, не требующие больших хлопот, способные «доходить» сами собой за те часы, когда она бывает в институте. Но кухня оказывается делом не легче химии и также полна тайн! В какую воду класть говядину — в холодную или в горячую? Сколько времени варить зеленую фасоль? Стоя у плиты, Мари с раскрасневшимися от жары щеками тяжело вздыхает. Насколько проще было раньше, когда она питалась хлебом с маслом, чаем, редиской, вишнями!

Мало-помалу Мари набирается хозяйственной премудрости. Газовый шкаф, несколько раз превращавший жаркое в уголь, теперь понял свои обязанности. Перед уходом Мари регулирует пламя с точностью физика, затем, окинув тревожным взглядом доверенные огню кастрюли, запирает входную дверь, скатывается с лестницы и догоняет мужа, чтобы идти с ним вместе в институт.

Через четверть часа, склоняясь над приборами другого вида, она так же старательно отрегулирует высоту пламени лабораторной горелки,

Восемь часов на научные исследования, три на домашние дела. Но это еще не все. Вечером, расписав ежедневный бюджет по рубрикам с пышными названиями: «расход на мужа», «расход на жену», Мари Кюри садится у дощатого стола и самозабвенно готовится к конкурсу на звание преподавателя. По другую сторону лампы Пьер, склонив голову, составляет программу своего нового курса в Школе физики. Временами, почувствовав на себе его взгляд, Мари поднимает глаза. Любящие друг друга мужчина и женщина обмениваются улыбкой. До двух-трех часов ночи еще светится огонь у них в квартире, а в кабинете с двух стульев слышится нежное пианиссимо в шорохе переворачиваемых страниц и торопливого пера.

Мари — Юзефу Склодовскому, 23 ноября 1895 года:

«...У нас все благополучно: мы здоровы и жизнь нас милует. Мало-помалу устраиваю нашу квартиру, но рассчитываю сохранить в ней стиль, не вызывающий никаких хлопот и не требующий ухода, так как я мало пользуюсь чужими услугами: на один час в день приходит женщина вымыть посуду и сделать черную работу. Я сама готовлю и веду хозяйство.

Через каждые несколько дней мы едим в Со навестить родных мужа. Это не нарушает ритма нашей работы. Нам предоставлены две смежные комнаты на втором этаже, что нам и требуется; там мы чувствуем себя как дома и можем свободно делать ту часть работы, какую нельзя выполнить в лаборатории.

В хорошую погоду мы едим в Со на велосипедах, а железной дорогой пользуемся только в том случае, если дождь льет как из ведра.

Мои «доходные предприятия» пока не определились, надеюсь получить в этом году одну работу, которую буду выполнять в лаборатории. Это работа полупромышленная, политехническая, и я предпочитаю бы ее урокам».

Мари — Юзефу Склодовскому, 18 марта 1896 года:

«...Жизнь наша по-прежнему однообразна. Мы ни с кем не видимся, кроме Длусских в Париже и родителей мужа в Со. Почти не бываем в театрах и не позволяем себе никаких развлечений. Возможно, что на пасху воспользуемся несколькими днями каникул и отправимся в экскурсию.

Мне очень горько, что не могу быть на свадьбе Эли. Если бы никого из нас не было в Варшаве, я, может быть, несмотря на затруднения, нашла бы деньги на проезд. Но, к счастью, Эля там не одинока. И я вынуждена отказаться от этой большой радости, не имея возможности позволить ее себе без угрозынений совести.

Уже несколько недель стоит теплая погода. За городом все зелено. Обыкновенные фиалки появились в Со еще в феврале, а теперь их множество: садовые клумбочки полны ими. На улицах в Париже продают много цветов по очень доступным ценам, и у нас в квартире всегда стоят букеты».

Мари — Юзефу и его жене, 17 июля 1896 года:

«Дорогие мои, мне так хотелось этим летом приехать на родину и обнять вас! Но, увы! Об этом даже думать нечего из-за недостатка денег и отсутствия времени. Я держу экзамены на звание преподавателя, а они могут продлиться до половины августа...»

В конкурсе на звание преподавателя средней школы Мари заняла первое место. Не говоря ни слова, Пьер покровительственно и гордо обнимает свою польку. Обнявшись, они доходят до улицы Гласьер... и не теряя ни минуты накачивают шины своих велосипедов, увешанных пакетами. В Овернь — на разведку!

Как щедро тратят оба супруга свои умственные и физические силы! Даже их каникулы — это какой-то разгул человеческой энергии.

«Лучезарное воспоминание, — будет писать потом Мари, — осталось у нас об одном солнечном дне, когда после длинного, тяжелого подъема ехали по зеленым лугам Обрана, в чистом воздухе высоких плато. Другое яркое воспоминание оставил один вечер, в долине Трюйер, где уже в сумерках мы задержались, наслаждаясь народной песней, что неслась с лодки, плывшей по течению, и замирала где-то вдали. Плохо рассчитав время на дорогу, мы не могли добраться до нашей квартиры раньше утренней зари из-за встречи с какими-то телегами: лошади испугались велосипедов, и нам пришлось срезать путь по вспаханному полю; затем мы снова попали на дорогу, идущую по высокому плато, залитому нереальным лунным светом, и только сонные коровы, ночевавшие в загонах, подходили к загородке и степенно разгладывали нас большими, спокойными глазами».

Второй год замужества. От первого он отличается лишь состоянием здоровья Мари, нарушенного беременностью. Мадам Кюри хочет иметь ребенка, но чувствует она себя настолько слабой, что с трудом может стоять у приборов. И она жалуется.

Мари — Казе, 11 марта 1897 года:

«Дорогая Казя, я запевдала поздравить тебя с днем рождения, но за последнее время я чувствую себя очень больной, а это лишает меня энергии и тревожит в мыслях, необходимых для писания.

У меня будет ребенок, но надежда на него достается жестоким образом. Больше двух месяцев у меня постоянные головокружения, и это с утра до вечера — весь день. Я сильно утомляюсь и слабею, чувствую себя не способной к работе и плохо в моральном отношении.

Мое состояние тем более меня тревожит, что моя свекровь тяжело больна...»

Мари — Юзефу Склодовскому, 31 марта 1897 года:

«...Ничего нового. Я все время болею, хотя нисколько не чахну — у меня даже хороший вид. Моя свекровь все больна, а так как болезнь ее неизлечима (рак груди), то это нас очень угнетает. Особенно боюсь того, что развяжак ее болезни и моей беременности наступят в одно время. Если случится так, то бедному Пьеру придется пережить тяжкие недели.

В июле 1897 года Пьер и Мари, уже два года почти не покидавшие друг друга ни на один час, впервые расстаются. Старик Склодовский приехал на лето во Францию и устроился вместе с Мари в гостинице «Рош-Гриз» в Пор-Блане, где он заботится о дочери, пока Пьер, задержавшийся в Париже, сможет присоединиться к ним.

Пьер — Мари, июль 1897 года:

«Моя милая, дорогая девочка, которую люблю так сильно. Я получил сегодня твое письмо и очень счастлив. Здесь ничего нового, только мне очень не хватает тебя: моя душа осталась с тобой...»

Эти строки старательно написаны... по-польски, на том трудном языке, из которого физик усвоил наиболее нежные

слова. Мари отвечает ему тоже на польском языке. Подбирает детские простые фразы, чтобы Пьеру было легче разобраться:

«Дорогой муж, погода прекрасная, солнце светит, тепло. Я очень тужу по тебе, приезжай скорее. Жду тебя с утра до вечера, а тебя все нет. Я здорова, работаю, сколько могу, но книга Пуанкаре труднее, чем я думала. Мне надо поговорить о ней с тобой и вместе пересмотреть то, что для меня трудно».

Перейдя на французский язык в других письмах, начинающихся: «Моя горячо любимая детка», Пьер наспех описывает свою жизнь в Со и свою работу. Совершенно серьезно говорит о пеленках, кофточках и рубашечках для будущего ребенка.

«...Сегодня отправил почтой посылку на твое имя. Ты в ней найдешь две вязанные кофточки, кажется, от мадам П. Размер маленький и соответствующего покроя. Маленький размер годится для кофточек эластичной вязки, но из бумажной материи следует делать пошире. Тебе надо иметь кофточки двух размеров».

И тут же подыскивает серьезные и редкостные слова для выражения своей любви:

«...Я думаю о своей милой, наполняющей всю мою жизнь, и мне хотелось бы иметь необыкновенные способности. Мне кажется, если я сосредоточу свои мысли только на тебе, как я сейчас сделал, я непременно увижу и самое тебя, и чем ты занята, а вместе с тем дам тебе почувствовать, что в эту минуту я весь принадлежу тебе,—но образное представление мне не дается».

В начале августа Пьер мчится в Пор-Блан. Можно подумать, что умиленный состоянием Мари на восьмом месяце беременности он спокойно проведет с ней это лето? Нисколько! Как безумные или, вернее, как ученые, не сознавая того, что делают, они садятся на велосипеды и едут в Брест, совершая перегоны не короче обычных. Мари все время утверждает, что не чувствует усталости, а Пьеру очень хочется верить этому. У него смутное представление о ней как о существе сверхъестественном, не подвластном человеческим законам.

Однако на этот раз ее тело стало просить пощады, и Мари, к своему великому стыду, была вынуждена, прервав поездку, вернуться в Париж, где и родила 12 сентября дочь Ирен, чудесного младенца, будущую обладательницу Нобелевской пре-

мин! Доктор Кюри присутствовал при родах, которые Мари Кюри перенесла, стиснув зубы, но не вскрикнув.

Рождение не произвело никакого шума и обошлось недорого. В счетной тетради за 12 сентября под рубрикой «экстренные расходы» находим запись: «Шампанское — 3 франка. Телеграммы — 1 франк 10 сантимов». А в графе «болезни»: «Лекарство и сиделка — 71 франк 50 сантимов». Однако же расход семейства Кюри за сентябрь месяц — 430 франков 40 сантимов — настолько превысил норму, что Мари выразила свое недовольство, подчеркнув цифру 430 двумя жирными линиями.

* * *

Мысль о выборе между семейной жизнью и ученой карьерой даже не приходила в голову Мари. Она решила действовать на всех фронтах: любви, материнства и науки, — ничем не поступаясь. Страстное желание и воля обеспечили ей успех и тут.

Мари — пану Склодовскому, 10 ноября 1897 года:

«Я продолжаю сама кормить мою принцессу, но за последнее время у нас возникли опасения, что я не в состоянии кормить. За три недели вес ребенка стал резко уменьшаться. У Ирен плохой вид, унетенный и вялый. В последние дни ей стало лучше. Если ребенок станет нормально прибавлять в весе, я буду продолжать ее кормить сама. В противном случае возьму кормилицу, хотя это и огорчит меня и вызовет дополнительные расходы: ни за какие блага мира я не допущу ничего вредного для развития ребенка.

Погода стоит отличная, тепло, солнечно. Ирен гуляет каждый день или со мной, или со служанкой. Я купаю ее в бачке для стирки».

Вскоре, по строгому предписанию врача, Мари пришлось бросить кормление дочери. Но утром, в полдень, вечером и ночью она сама меняет пеленки, купает, одевает. Кормилица гуляет с девочкой в парке Монсури, а в это время молодая мать трудится в лаборатории и пишет работу о магнитных свойствах закаленных сталей, которая появится в «Известиях Общества поощрения национальной промышленности».

В один и тот же год, с промежутком в три месяца, Мари дала миру своего первого ребенка и результат своих первых изысканий.

Здоровье Мари ухудшилось со времени беременности. Казимеж Длусский и доктор Вотье, постоянный врач семьи Кюри,

говорят о туберкулезном очаге в левом легком. Встревоженные опасной наследственностью Мари, мать которой умерла от чахотки, они советуют ей провести несколько месяцев в санатории. Но упрямщица выслушивает их рассеянно и наотрез отказывается последовать совету.

У нее много других забот! Лаборатория, муж, дом, дочь. Плач Ирен, у которой прорезываются зубки, или грипп, или какая-нибудь более мелкая напасть частенько нарушают домашний покой и вынуждают обоих физиков проводить бессонные, томительные ночи. Или же Мари, охваченная внезапной паникой, вдруг оставляет лабораторию и бежит в парк Моисури. Не потеряла ли кормилица свою питомицу? Нет... Она еще издали замечает кормилицу, колысочку, в которой шевелится что-то в белом.

Свекор оказался драгоценным помощником Мари. Доктор Кюри, потеряв жену через несколько дней после рождения Ирен, нежно привязался к ребенку. Он наблюдает за ее первыми попытками ходить в садике на улице Саблон.

Когда Пьер и Мари переедут с улицы Гласьер в небольшой флигель на бульваре Келлермана, старик поселится у них. Он станет воспитателем Ирен и самым близким ее другом.

* * *

Какой путь пройден с ноябрьского утра 1891 года, когда эта поляка с кучей всяких свертков прибыла в вагоне четвертого класса на Северный вокзал! Перед Маней Склодовской раскрылись физика, химия и целая жизнь женщины. Она преодолела множество препятствий, и мелких и огромных, всецело полагаясь на свою выдержку и исключительное мужество.

Эта борьба, эти победы изменили ее физически, преобразили даже само лицо. Нельзя без трогательного чувства смотреть на фотографию Мари Кюри в тридцатилетнем возрасте. Крепкая, слегка приземистая девушка стала каким-то нематериальным существом. Хочется сказать: «Какая обольстительная, интересная, хорошенькая женщина!» Но не решаясь, взглянув на этот огромный лоб и потусторонний взгляд.

Мадам Кюри собралась на свидание со славой и навела на себя красоту...

ОТКРЫТИЕ РАДИЯ

Молодая супруга ведет дом, купает дочку и ставит на плиту кастрюлю..., а в убогой лаборатории Школы физики ученая делает самое важное открытие современной науки.

Два диплома, звание преподавателя, работа по изучению магнитных свойств закаленных сталей — таков итог деятельности Мари к концу 1897 года, когда она, оправившись от родов, возвращается к научной деятельности.

Следующая ступень в поступательном развитии ее карьеры — защита докторской диссертации. Несколько недель проходят в колебаниях. Речь идет о выборе плодотворной, оригинальной темы. В поисках темы Мари просматривает новейшие работы по физике. В этом основном вопросе мнение Пьера, конечно, играет большую роль. Он руководитель лаборатории, где работает Мари, ее «хозяин». Этот физик и старше, и гораздо опытнее как ученый, нежели Мари. Рядом с мужем она пока лишь подмастерье. Тем не менее самый характер этой польки, ее природная сущность должны были сильно повлиять на выбор темы диссертации.

Уже в детстве в ней проявились любознательность и смелость, столь свойственные первооткрывателям. Такой же, как у них, инстинкт погнал ее из Варшавы в Сорбонну, побудил переехать в одинокую мансарду Латинского квартала из уютной квартиры Длусских. В прогулках по лесу она обычно выбирает не проторенные тропинки, а стежки напрямик.

Мари похожа на путешественника, который обдумывает план большого похода. Путешественник, склонясь над картой мира, отмечает где-нибудь в далекой стране место, разбудившее его воображение, и сразу решает ехать именно туда, и никуда больше. Мари, перелистывая отчеты о последних научно-экспериментальных работах, останавливается на опубликованных в прошлом году статьях французского физика Анри Беккереля. Пьер и Мари были уже знакомы с ними. Теперь она их перечитывает снова и старательно изучает.

После открытия Рентгеном X-лучей Анри Пуанкаре решил исследовать, не подобны ли X-лучам Рентгена и те лучи, какие исходят от флуоресцирующих тел под воздействием света. Увлеченный такой же задачей, Анри Беккерель исследовал соли урана. Но вместо ожидаемого явления он обнаружил другое, совершенно отличное и необъяснимое: соли урана самопроизвольно, без предварительного воздействия на них света испускали лучи неизвестного происхождения. Содержащее уран вещество, положенное на фотографическую пластинку, обернутую в черную бумагу, воздействовало на пластинку и сквозь бумагу. Подобно X-лучам и «урановые» лучи разряжали электроскоп, превращая окружающий воздух в проводник.

Адри Беккерель убедился, что эти свойства не зависели от предварительного облучения, а неизменно проявлялись и тогда, когда содержащее уран вещество выдерживали долго в темноте. Он открыл то самое явление, которое впоследствии получил от Мари Кюри наименование «радиоактивность». Но происхождение этого излучения оставалось загадкой.

Лучи Беккереля в высшей степени заинтриговывают чету Кюри. Откуда возникает эта, хотя и минимальная, энергия, какую непрерывно выделяет содержащее уран вещество в виде излучения? Какова природа этих излучений? Какая замечательная тема для научного исследования, для диссертации на степень доктора! Этот предмет соблазняет Мари, в особенности потому, что поле исследования — еще целина: эти новейшие работы в европейских лабораториях пока никем не изучались, а точкой отправления и единственными литературными источниками оказываются последние доклады Беккереля, прочитанные им в 1896 году в Академии наук. Как увлекательно вдруг кинуться на произвол судьбы в неведомую область!

* * *

Остается лишь найти место, где проводить опыты; вот здесь и начинаются затруднения. Пьер не раз заговаривал об этом с директором Школы физики, но результат оказался весьма скромным: в полное распоряжение Мари предоставляется застекленная мастерская на первом этаже института. Эта комната, загроможденная и сыроватая от пара, служит складом и машинным отделением. Техническое оборудование примитивно. Комфорта никакого.

Мари не унывает. Несмотря на отсутствие нужного ей электрического оборудования и приборов, необходимых для начала научных исследований, она изыскивает возможности ставить опыты и в этом помещении. Это дается нелегко. Точные приборы коварны: подводит влажность, колебания температуры. Климат в этой небольшой мастерской оказывается роковым для чувствительных электрометров, да не очень полезен и для здоровья самой Мари... Но разве это так важно, не правда ли? Когда становится уж очень холодно, физик отмечает в своей рабочей записной книжке температуру с точностью до сотых градуса. Так, в записи от 6 февраля 1898 года среди различных цифр и формул находим: «Температура $6,25^{\circ}\text{C}$!»

Шесть градусов, конечно, мало! В знак осуждения Мари добавляет два маленьких знака восклицания.

Она применяет хорошо знакомый ей отличный метод, еще раньше предложенный двумя физиками — Пьером и Жаком Кюри для изучения других явлений, и этот метод окажется

ключом успеха ее опытов. Все оборудование, необходимое для работы, состоит из ионизационной камеры, электрометра Кюри и кристалла пьезокварца.

После нескольких недель работы получен первый результат: Мари устанавливает, что интенсивность таинственного излучения пропорциональна количеству урана в исследуемых образцах, что излучение может быть измерено совершенно точно, что на него не влияет ни состояние химических соединений урана, ни такие внешние воздействия, как освещенность или температура.

Результаты далеко не сенсационные для профана, но увлекательные для ученого. В физике случается нередко, что какое-нибудь необъяснимое явление после тщательного исследования может быть подведено под уже известные законы и тем самым сразу теряет для ученого всякий интерес.

Так бывает при чтении плохих детективных романов, где уже в третьей главе мы узнаем, что «роковая» женщина, которая могла бы оказаться виновницей преступления, в действительности честная мещанка и ведет отнюдь не таинственную жизнь. Тогда мы сразу разочаровываемся и перестаем читать книгу.

В данном случае — ничего подобного. Чем ближе знакомится Мари с лучами, испускаемыми ураном, тем больше они ей представляются совершенно особенными, непонятными. Они ни на что не похожи. На них ничто не действует. Несмотря на очень слабую их интенсивность, в них есть какое-то собственное, совершенно отличное от других своеобразие.

Кандидатка на степень доктора прежде всего старается измерить ионизирующее действие лучей урана, иными словами — их способность превращать воздух в проводник электричества и разряжать электроскоп.

Раздумывая над этой тайной, Мари нащупывает верный подход к ней и вскоре получает возможность утверждать, что непонятное излучение атомного происхождения. Она задает себе вопрос: хотя данное явление наблюдается только у урана, это еще не доказывает того, что уран единственный химический элемент, испускающий таинственные лучи. Почему бы и другим элементам не обладать таким же свойством? Может быть, случайно то обстоятельство, что данные лучи были открыты прежде всего у урана, и в представлении физиков остались связанными с ним. Теперь надо поискать их и у других веществ.

Сказано — сделано! Бросив изучение урана, Мари принимается за исследование всех известных химических элементов. И результаты не заставили себя долго ждать. Соединения то-

рия, как оказалось, излучают самопроизвольно лучи, подобные лучам урана и аналогичной интенсивности. Молодая ученая взглянула на дело правильно: данное явление свойственно не одному урану, и этому свойству необходимо дать особое название. Мадам Кюри предложила назвать его «радиоактивностью», а уран и торий — «радиоэлементами».

Радиоактивность до такой степени увлекла Мари, что молодая ученая неустанно исследует все тем же методом самые различные вещества. Любознательность — главная добродетель ученого, а Мари обладала ею в высокой степени, чудесной женской любознательностью! Не ограничиваясь рассмотрением чистых элементов, их солей и окислов, она решила использовать коллекцию минералов в Школе физики и так, наобум, подвергнуть различные их образцы своего рода таможенному досмотру посредством электроскопа. Пьер одобрил ее намерение.

Идея Мари проста, как все гениальные мысли. На той ступени работы, до какой дошла мадам Кюри, сотни исследователей застряли бы на месяцы, а может быть, и на годы. Пересмотрев все известные химические элементы и открыв, как она, излучение тория, они напрасно задавали бы вопрос, откуда берется это таинственное излучение. Мари тоже задает такой вопрос и тоже в недоумении. Но ее недоумение преобразуется в ряд плодотворных действий. Все явные возможности ею исчерпаны, теперь она вступает в область неизвестного, неисследованного.

Она предвидит, что даст изучение минералов, или лучше сказать, ей кажется, что она знает, какие будут получены результаты. Образцы, не содержащие урана или тория, окажутся полностью «неактивными». Другие же, содержащие уран или торий, будут радиоактивными.

Действительность оправдала ее предположения. Отбросив «неактивные» минералы, Мари принимается за другие и производит измерения их радиоактивности. И вдруг — полная неожиданность: радиоактивность, оказывается, гораздо значительнее, чем можно было ожидать, судя по количеству урана или тория в данных образцах!

«Какая-то ошибка в постановке опыта...», — думает молодая ученая, так как сомнение — первая, неперемнная реакция ученого при получении неожиданного результата.

Мари тщательно заново производит измерения — тот же результат. Десять, двадцать раз проверяет себя. В конце концов нельзя не признать очевидный факт; количество урана или тория в данных минералах никоим образом не объясняет такую исключительную интенсивность излучения.

Что является причиной этой чрезвычайной, ненормальной

радиоактивности? Остается единственное объяснение: вероятно, исследуемые минералы содержат в очень небольшом количестве некое вещество с гораздо большей радиоактивностью, чем торий и уран.

Но что это за вещество? Ведь в предыдущих своих опытах Мари исследовала все известные химические элементы?

Молодая ученая дает уверенный ответ с той исключительной смелостью, какая свойственна только выдающимся умам. Она высказывает дерзкую гипотезу: данные минералы, несомненно, содержат радиоактивное вещество, а само это вещество — еще не известный химический элемент, новый химический элемент!

Новый элемент! Гипотеза, чарующая, заманчивая, но... всего лишь гипотеза. Пока это радиоактивное вещество находится только в воображении Пьера и Мари. Но оно существует! И придет день, когда Мари сдержанным тоном, но с увлечением скажет Броне:

— Послушай, то излучение, природу которого я не могла объяснить, происходит от неизвестного химического элемента. Он существует, надобно лишь его найти! Мы в этом уверены. Мы говорили об этом с некоторыми физиками, но они предполагают ошибку в опыте и советуют быть осторожнее. Но я убеждена, что ошибки не было!

Исключительные минуты исключительной жизни. Об исследователе и его открытии профаны создают себе представление романтическое... и совершенно ложное. Самый «момент открытия» бывает не всегда. В работе ученого столько тонкостей, столько тяжелого труда, поэтому невозможно, чтобы уверенность в достигнутом успехе вдруг вспыхнула как молния и ослепила своим блеском. Мари перед своими приборами едва ли сразу испытала упоение победой. Оно растянулось на несколько дней решающих усилий, подстегнутых блестящей надеждой.

Но тот момент, когда Мари, убежденная, что идет по горячим следам неведомого вещества, поверила свою тайну старшей сестре, своей союзнице, — этот момент, наверно, был особенным. Не говоря друг другу приятных слов, обе сестры, наверно, пережили в потоке волнующих воспоминаний годы былых тягостных ожиданий, взаимного самопожертвования, несладкую, но полную надежд и веры студенческую жизнь.

Прошло всего четыре года с той поры, когда Мари писала брату:

«Жизнь, как видно, не дается никому из нас легко. Ну что ж, надо иметь настойчивость, а главное — уверенность

в себе. *Надо верить, что ты на что-то зоден, и этого «что-то» нужно достигнуть во что бы то ни стало.*

Это «что-то» оказалось способностью направить науку на еще не известный путь.

В сообщении, представленном через профессора Липпмана на академии и напечатанном в «Докладах Парижской академии наук» в связи с заседаниями 12 апреля 1898 года, говорится: «Мари Склодовска-Кюри заявляет о том, что в минералах с окислом урана, вероятно, содержится новый химический элемент, обладающий высокой радиоактивностью»:

«...Два урановых минерала: уранинит (окисел урана) и хальколит (уранилфосфат меди) — значительно активнее, чем сам уран. Этот крайне знаменательный факт вызывает мысль о том, что в данных минералах может содержаться элемент, гораздо более активный, чем уран...»

Так был сделан первый шаг к открытию радия.

* * *

Силой собственной гениальной интуиции Мари пришла к убеждению, что неведомое вещество должно существовать. Она приказывает ему быть. Но требуется раскрыть его никогда. Гипотезу надо проверить опытом, выделить это вещество. Надо иметь возможность открыто заявить: «Оно есть. Я видела его».

Пьер Кюри с горячим участием следит за успешными опытами своей жены. Не вмешиваясь в самую работу, он часто помогает Мари советами и замечаниями. Учитывая поразительный характер уже достигнутого, Пьер Кюри решает оставить временно свою работу над кристаллами и принять участие в попытках Мари обнаружить новый элемент.

Всякий раз, как только обширность поставленной задачи вызвала, требовала сотрудничества, известный физик становился рядом с другим физиком — спутником его жизни.

Три года тому назад любовь соединила его с удивительной женщиной. Любовь..., а может быть, таинственное предвидение, непогрешимый инстинкт?

* * *

Теперь боевые силы удвоились. В сырой мастерской на улице Ломои два мозга и четыре руки ищут неведомый химический элемент. И с этих пор в творчестве супругов уже нель-

зя будет различить вклад каждого из них. Мы знаем, что Мари, избрав темой диссертации излучение урана, открыла радиоактивность и других веществ. Мы знаем, что в результате исследования минералов она имела возможность заявить о существовании какого-то нового химического элемента с высокой радиоактивностью и что этот результат первостепенной важности вызвал решение Пьера Кюри прервать свои работы в другой области и попытаться помочь жене выделить этот новый элемент. Теперь, в мае или июне 1898 года, начинается их совместная работа, которая продлится восемь лет и будет так жестоко прервана трагической смертью Пьера.

Мы не можем и не должны пытаться выяснить, что за эти восемь лет сделано Мари, а что — Пьером. Это противоречило бы желанию супругов. Талант Пьера Кюри известен благодаря его собственным работам до сотрудничества с женой. Талант его жены нам выявляется в ее первом предчувствии открытия, в ее подходе к задаче. Этот талант себя проявит и потом, когда мадам Кюри, уже вдовой, будет одна, не сгибаясь, нести все бремя новых открытий и доведет их до гармоничного расцвета. У нас есть определенные доказательства того, что в этом прославленном союзе мужчины с женщиной их вклад был равным.

Пусть вера в это удовлетворит и наше любопытство, и наше восхищение. Не станем разделять пару, полную любви друг к другу, если их почерки, сменяясь, идут один вслед за другим в рабочих записях и формулах; пару, которая подписывала вместе почти все научные работы, опубликованные ими. Они пишут: «мы нашли...», «мы наблюдали...», — и только изредка вынуждены употреблять такой трогательный оборот:

«Некоторые минералы, содержащие в себе уран и торий (уранинит, хальколит), очень активны с точки зрения испускания лучей Беккереля. В предшествующей работе один из нас обнаружил, что их активность даже больше, чем урана и тория, и высказал мнение, что это вызывается действием другого очень активного вещества, содержащегося в малом количестве в этих минералах...»

(Пьер и Мария Кюри. «Доклады Парижской академии наук», 18 июля 1898).

* * *

Супруги Кюри ищут это «очень активное вещество» в содержащем уран минерале — урановой смолке (уранините). В своем природном виде она проявляла радиоактивность, вчет-

веро большую, чем чистый окисел урана, входящий в состав самого минерала. Но состав минерала был достаточно хорошо изучен. Следовательно, новый элемент представлен в нем в столь малых количествах, что его присутствие ускользнуло от внимания ученых и не соответствовало чувствительности применяемых химических анализов.

По самым пессимистическим расчетам (как и подобает настоящим физикам, всегда выбирающим из двух вероятностей наименьшую), Пьер и Мари полагают, что количество нового вещества должно составлять, как максимум, один к ста по отношению к содержанию урановой смолки. Они считают, что это очень мало. Как бы изумились они, если бы узнали, что новый радиоактивный элемент представлен в урановой смолке отношением даже меньшим, чем один к миллиону!

Терпеливо приступают они к исследованию по их собственному методу: обычными аналитическими приемами выделяют все элементы, входящие в состав уранинита, а затем измеряют радиоактивность каждого из них в отдельности. Путем последовательного отбора они мало-помалу убеждаются, что необычайной радиоактивностью обладают только определенные составные части минерала. Чем дальше продвигаются они в своей работе, тем больше ограничивают поле этого исследования. Здесь тот же принцип, какой применяют детективы, обследуя один за другим дома данного квартала, чтобы напасть на след преступника и задержать его.

Но здесь преступник не один: радиоактивность сосредоточивается в двух различных химических фракциях. Для супругов Кюри это обстоятельство являлось указанием на то, что существуют два новых элемента. В июле 1898 года они уже могут заявить об открытии одного из них.

— Ты должна придумать «ему» имя! — сказал Пьер жене. Бывшая паниа Склодовская с минуту раздумывает. Перенесясь душою к своей родине, она робко предлагает:

— Не назвать ли нам его «полонием»?

В «Докладах Парижской академии наук» за июль 1898 года находим:

«...Мы полагаем, что вещество, извлеченное нами из урановой руды, содержит еще не описанный металл, по своим химическим свойствам близкий к висмуту. Если существование этого металла подтвердится, мы предлагаем назвать его «полонием» — по имени страны, откуда происходит один из нас».

Выбор такого названия показывает, что Мари, став французским физиком, не отрекалась от своей родины. Об этом же

говорит и то, что, прежде чем заметка «О новом радиоактивном веществе в составе уранинита» появилась в «Докладах Парижской академии наук», Мари послала рукопись на родину, к Юзефу Богускому, руководителю той лаборатории Музея промышленности и сельского хозяйства, где начались ее первые научные опыты. Сообщение было опубликовано в «Swiatlo», ежемесячном иллюстрированном обозрении, почти одновременно с опубликованием в Париже.

★ ★ ★

Характер жизни в квартире на улице Гласьер не изменился. Только работают Пьер и Мари больше, чем обычно. Когда наступила летняя жара, Мари нашла время закупить целые корзины ягод и, по обыкновению, заготовила на зиму варенье по рецепту, принятому в семье Кюри. Потом опустила жалюзи на окнах, сдала велосипеды в багаж на Орлеанском вокзале и, следуя примеру многих тысяч юных парижанок, уехала на летние каникулы с дочерью и мужем.

Супруги сняли крестьянский дом в Ору, Овернь. Как легко дышится на чистом воздухе после вредной лабораторной атмосферы на улице Ломон! Кюри совершают экскурсии в Манд, Пюн, Клермон-Ферран, Мон-Дор, поднимаются и спускаются по крытым склонам, купаются в речках, осматривают гроты. Одни среди деревенского простора, они беседуют о своих новых металлах — полонии и о «другом», который еще предстоит найти. В сентябре они снова вернутся в сырую мастерскую, к тусклым минералам. И с новым пылом возьмутся за исследования. Но упоение работой нарушается горестным событием: Длусские собираются уезжать из Парижа. Они решили обосноваться в Польше и построить в Закопане, среди Карпатских гор, туберкулезный санаторий. С большой грустью простились Мари и Броня. Мари теряет друга, покровительницу. Впервые она почувствовала себя изгнанницей.

Мари — Броня, 2 декабря 1898 года:

«...Ты не можешь себе представить, какую пустоту оставила ты после себя. С вами двумя я утратила все, что привязывало меня к Парижу, кроме мужа и ребенка. Мне кажется, что вне нашей квартиры и института, где мы работаем, Париж не существует.

Спроси у пани Длусской-матери о том цветке, который вы здесь оставили: надо ли его поливать и сколько раз в день, требует ли он тени или много солнца?

Мы здоровы, несмотря на плохую погоду, дождь, и слякоть. Ирен становится уже большой девочкой. Очень трудно с ее кормлением: кроме тапиоки на молоке, она почти ничего не желает есть, даже яич. Напиши мне, какое меню подходит для особ ее возраста...»

* * *

Несколько выдержек из записей Мари Кюри в этом памятном 1898 году следует, по нашему мнению, привести здесь, несмотря на их прозаический характер, а может быть, именно поэтому.

Приведенные ниже записи нанесены на полях книги «Домашняя кухня» и касаются приготовления желе из крыжовника:

«Я взяла восемь фунтов ягод и столько же сахарного песка. Прокипятив все вместе десять минут, я пропустила эту смесь сквозь очень тонкое сито. У меня получилось четырнадцать банок непрозрачного, но отличного желе, которое застыло превосходно».

В школьной тетради с парусиновым переплетом, куда молодая мать день за днем записывает вес маленькой Ирен, ее режим и появление молочных зубов, читаем под датой 20 июля 1898 года — через неделю после опубликования статьи об открытии полония:

«Ирен делает ручонкой «спасибо»... очень хорошо двигается на четвереньках. Произносит: «Гоги, гоги, го». Весь день она проводит в саду в Со на ковре. Валяется на нем, сама встает, садится...»

15 августа в Ору:

«У Ирен прорезается седьмой зуб, внизу, слева. С полминуты может стоять совсем одна. Уже три дня, как начали купать ее в реке. Она кричит, но сегодня (четвертое купание) уже перестала кричать, а играет, шлепая ручками по воде».

Ирен играет с кошкой и бежит за ней на четвереньках с воинственными криками. Перестала бояться чужих. Много поет. Со стула взбирается на стол».

Два месяца спустя. 11 октября, Мари с гордостью отмечает:

«Ирен ходит очень хорошо и уже не ползает на четвереньках».

А 5 января 1899 года:

«У Ирен появился 15-й зубок!»

* * *

Между двумя заметками — от 17 октября 1898 года о том, что Ирен перестала передвигаться на четвереньках, и от 5 января 1899 года о 15 зубках, — несколько позже заметки о желе, — есть еще запись, достойная упоминания. Она составлена Пьером и Мари вместе с их сотрудником по имени Ж. Бемон. Написанная для Академии наук и опубликованная в «Докладах Академии наук» в сообщении о заседании 26 декабря 1898 года, она говорит о существовании в составе уранинита второго радиоактивного химического элемента.

Вот несколько строк из этого сообщения:

«...В силу различных, только что изложенных оснований мы склонны считать, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, который мы предлагаем назвать радием. Новое радиоактивное вещество, несомненно, содержит также примесь бария, и даже в очень большом количестве, но, несмотря на это, обладает значительной радиоактивностью. Радиоактивность же самого радия должна быть огромной».

ЧЕТЫРЕ ГОДА В САРАЕ

Любой наугад взятый человек, прочтав сообщение об открытии радия, уже ии минуты не будет сомневаться в его существовании: люди, у которых критическое чутье не обострено и в то же время не нвращено узкой специальностью, обладают свежим непосредственным воображением. Они способны поверить любому неслыханному факту и восхищаться им, как бы необычен он ни казался.

Несколько по-другому воспринимает новость физик, какой-нибудь собрат супругов Кюри по науке. Особенности свойства полония и радия разрушают основные теории, которым верили ученые в течение веков. Чем объяснить радиоактивность элементов? Это открытие потрясает целый мир накопленных веками знаний и противоречит крепко укоренившимся пред-

ставлениям о строении материи. Поэтому физик ведет себя сдержанно. Его в высшей степени интересует работа Пьера и Мари Кюри, он понимает ее безграничные возможности в дальнейшем, но, для того чтобы составить свое мнение, ждет решающих точных результатов.

Отношение химика еще придиричливее. По своему характеру химик поверит в существование какого-нибудь нового химического элемента только тогда, когда сам увидит его, коснется, взвесит, исследует, подвергнет воздействию кислот, заключит в сосуд и определит его атомный вес.

А радия до сих пор никто не видел. Никто не знает атомный вес радия. И химики, верные своим принципам, делают вывод: «Нет атомного веса — нет и радия. Покажите радий, и мы поверим».

Чтобы показать скептикам радий и полоний, доказать миру существование их детищ и окончательно убедить самих себя, супругам Кюри понадобится четыре года упорной работы.

* * *

Теперь их цель — добыть радий и полоний в чистом виде. В тех наиболее радиоактивных продуктах, какие добыли эти ученые, оба вещества представлены только неуловимыми следами. Чтобы выделить новые элементы, предстояло обработать большие количества сырья.

Отсюда возникали три мучительных вопроса:

Где достать нужное количество минерала?

Где его обрабатывать?

Из каких средств оплачивать неизбежную подсобную работу?

Урановая смолка, содержащая полоний и радий, — минерал очень дорогой; она добывается из руд Иахимсталя в Богемии с целью извлечения из нее урановых солей, употребляемых в стекольном производстве. Необходимые тонны обойдутся дорого. Чересчур дорого для четы Кюри! Находчивость замесит им деньги. По мнению обоих ученых, после извлечения урана из минерала те ничтожные количества полония и радия, которые в нем содержатся, должны оставаться в уже отработанном сырье. Следовательно, ничто не мешает им находиться в отходах, и если необработанная урановая смолка стоит очень дорого, то ее отходы после извлечения урана стоят гроши. А если попросить у австрийского коллеги рекомендацию к директору рудников Иахимсталя, то не удастся ли получить большое количество этих отходов по доступным ценам?

Все это просто, но надо еще подумать.

Необходимо закупить сырье и оплатить перевозку до Парижа. Пьер и Мари позаимствуют нужную сумму из своих весьма скромных сбережений. Они не так наивны, чтобы просить на это средства у правительства. Хотя оба физика находились на верном пути к важнейшему открытию, но, если бы они обратились к университету или правительству с просьбой о содействии в покупке отходов от переработки урановой руды, им рассмеялись бы в лицо. Во всяком случае, их докладная записка затерялась бы в делах какой-нибудь канцелярии, а им пришлось бы целые месяцы ждать ответа, и, вероятно, отрицательного. Из всех традиций и принципов Французской революции, которая создала метрическую систему, основала нормальные школы и не однажды поощряла науки, к сожалению, государство спустя век запомнило только слова Фукье-Тенвиля, сказанные на заседании трибунала, отправившего Лавуазье на гильотину: «Республике не нужны ученые» *.

А можно ли найти, хотя бы в многочисленных зданиях Сорбоннского университета, подходящее место для работы и предоставить его супругам Кюри? Видимо, нет! После напрасных ходатайств Пьер и Мари возвращаются ни с чем к точке их отправления, то есть к Школе физики, в которой преподает Пьер, к той небольшой мастерской, где нашли себе приют первые опыты Мари. Мастерская выходит во двор, а по другую сторону двора стоит деревянное строение — заброшенный сарай со стеклянной крышей, протекающей во время дождя, — в жалком состоянии. Медицинский факультет некогда использовал это помещение для вскрытий, но уже с давних пор оно считалось непригодным даже для хранения трупов. Пола нет — сомнительный слой асфальта покрывает землю. Обстановка — несколько ветхих кухонных столов, неизвестно как уцелевшая черная классная доска и старая железная печь со ржавой трубой.

Простой рабочий не стал бы работать по доброй воле в таком месте. Пьер и Мари все-таки пошли на это. У этого сарая имелось свое преимущество: он был так плох, так мало соблазнителен, что никто и не подумал возражать против передачи его в полное распоряжение Кюри. Директор института Шютценбергер, всегда благоволивший к Пьеру Кюри, высказал сожаление, что не может предложить ему ничего лучшего. Как бы то ни было, но лучшего он не предложил, а супруги,

* Достоверность этих слов ничем не подтверждается. —
Прим. ред.

довольные уже тем, что не очутились на улице со всем своим оборудованием, благодарили, уверяя, что «это их вполне устроит, они приспособятся».

Пока они входили во владение своим сараем, пришел ответ из Австрии. Вести добрые! Вопреки обыкновению, отходы, полученные за последнее время при извлечении урана, еще не были вывезены. Ненужный производству материал ссыпали в кучу у рудника на пустыре, поросшем сосняком. Благодаря посредничеству профессора Зюсса и Венской академии наук, австрийское правительство в качестве владельца этого государственного завода постановило отпустить безвозмездно тонну отходов в распоряжение двух лунатиков в науке, уверяющих, что эти отбросы им необходимы. Если понадобится большее количество такого материала, рудник уступит его на самых выгодных условиях.

Однажды утром большая конная повозка, вроде тех, что развозят уголь, остановилась на улице Ломон, перед Школой физики. Об этом известили Пьера и Мари. Без шляп, в лабораторных фартуках они бегут на улицу. Пьер сохраняет обычное спокойствие, но Мари, увидав рабочих, выгружающих мешки, не может скрыть свою радость. Это же урановая руда, ее урановая руда! Еще несколько дней тому назад товарная станция известила о ее прибытии.

Лихорадочно волнуясь от любопытства и нетерпения, Мари не в состоянии ждать, ей хочется сейчас же вскрыть какой-нибудь мешок и взглянуть на свое сокровище. Разрезает бечеву и расправляет грубую мешковину. Запускает руки в бурый, тусклый минерал с примесью хвойных игл.

Вот где таится радий! Вот откуда будет извлекать его Мари, хотя бы ей пришлось переработать гору этого вещества, похожего на дорожную пыль.

* * *

Мария Склодовская прожила самые упорные времена своего студенчества в мансарде. Мари Кюри предстоит вновь пережить много чудесных часов в полуразрушенном сарае. Странная повторяемость обстоятельств, когда суровое и утонченное счастье (наверно, не испытанное ни одной женщиной до Мари) оба раза выбирает для себя самое жалкое убранство.

Сарай на улице Ломон образцовый по отсутствию удобств. Летом из-за стеклянной крыши в нем жарко, как в теплице. Зимой не знаешь, что лучше — дождь или мороз. Если дождь, то водяные капли с мягким, но раздражающим стуком падают на пол, на рабочие столы, на разные места, отмеченные физи-

камн, чтобы не ставить там аппаратуру. Если мороз, то мерзнешь сам. А помочь нечем. Печка, даже раскаленная докрасна, одно разочарование. Подходишь к ней вплотную, немного согреваешься, но чуть отойдешь, как начинаешь дрожать от холода. Мари и Пьеру необходимо привыкать к жестоким внешним климатическим условиям: из-за отсутствия в числе прочего необходимого оборудования — тяги для вывода наружу вредных газов — большинство процессов переработки надо осуществлять под открытым небом, на дворе. Стоит разразиться ливнем — и физики спешно переносят аппаратуру опять в сарай. А чтобы продолжать работу и не задыхаться, они устраивают сквозняк, отворяя дверь и окна.

«У нас не было ни денег, ни лаборатории, ни помощи, чтобы хорошо выполнить эту важную и трудную задачу, — пишет Мари позже. — Требовалось создать нечто из ничего, и если Казимеж Длусский когда-то назвал мои студенческие годы «героическими годами жизни моей свояченицы», то я могу сказать без преувеличения, что этот период был для меня и моего мужа героической эпохой в нашей совместной жизни.

...Но как раз в этом дрянном, старом сарае протекли лучшие и счастливейшие годы нашей жизни, всецело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным прутом длиной почти в мой рост. Вечером я оолилась с ног от усталости».

В таких условиях чета Кюри будет работать с 1898 по 1902 год.

В первый год они работают совместно над химическим выделением полония и радия, добывают радиоактивные продукты, а затем измеряют интенсивность их излучения. Вскоре оба супруга находят более целесообразным действовать раздельно. Пьер стремится уточнить свойства радия, изучить новый металл. Мари продолжает переработку руды, чтобы получить чистые соли радия.

При этом разделении труда Мари избрала мужскую долю, взяв на себя роль чернорабочего. В сарае — ее супруг, весь поглощенный постановкой тонких опытов, во дворе — Мари с развевающимися на ветру волосами, в старом, запыленном и сожжении кислотами фартуке, окруженная клубами дыма, разбедающего глаза и горло, и выполняющая функции целого завода.

«Мне приходилось обрабатывать в день до двадцати килограммов первичного сырья, — пишет она, — и в результате

весь сарай был заставлен большими химическими сосудами с осадками и растворами; изнурительный труд переносить мешки, сосуды, переливать растворы из одного сосуда в другой, по нескольку часов подряд мешать кипящую жидкость в чугунном котле.»

Но радий упорно хранит свою тайну и не выражает ни малейшего желания знакомиться с людьми. Где та пора, когда Мари, по простоте душевной, определяла его содержание в отходах урановой руды как один к ста? Излучение нового вещества обладает такой силой, что ничтожное количество радия, рассеянное в минерале, является источником поразительных явлений, которые можно не только наблюдать, но и легко измерить. Вся трудность — в невозможности выделить даже ничтожное количество радия, изъять его из той среды, с которой он прочно связан.

Рабочие дни превращаются в месяцы, а месяцы в годы. Пьер и Мари не теряют мужества. Это вещество завораживало их своим сопротивлением. Он и она, соединенные нежной любовью и общностью интересов, созданы для той противоестественной жизни, какую вели в деревянном сарае.

«В ту пору мы с головой ушли в новую область, которая раскрылась перед нами благодаря неожиданному открытию, — запишет Мари. — Несмотря на трудные условия работы, мы чувствовали себя вполне счастливыми. Все дни мы проводили в лаборатории. В жалком сарае царил полный мир и тишина; бывало, что приходилось только следить за ходом той или другой операции, тогда мы прозуливались взад и вперед по сараю, беседуя о нашей теперешней и будущей работе; озябнув, подкреплялись чашкой чаю тут же у печки. В нашем общем, едином увлечении мы жили как во сне.

...В лаборатории мы очень мало виделись с людьми; время от времени кое-кто из физиков и химиков заходил к нам: или посмотреть на наши опыты, или спросить совета у Пьера Кюри, уже известного своими познаниями в нескольких разделах физики. И у классной доски начинались те беседы, что оставляют лучшие воспоминания, возбуждая еще больший научный интерес и рвение к работе, и в то же время не прерывают естественный ход мысли и не смущают атмосферу покоя и внутренней сосредоточенности, какой и должна быть атмосфера лаборатории».

Иногда Пьер и Мари оставляют на несколько минут свою аппаратуру и начинают мирно беседовать.

— Очень интересно, как «он» будет выглядеть,— говорит в один прекрасный день Мари с истерпеливым любопытством девочки, которой обещана игрушка.— Пьер, ты каким представляешь его себе?

— Кто его знает...— спокойно отвечает физик.— Видишь ли, мне бы хотелось, чтобы у него был красивый цвет.

* * *

Странно, что в переписке Мари Кюри мы не находим по поводу этой многотрудной работы ни одного картинного, прочувствованного замечания вроде тех, какие некогда проскальзывают в ее письмах. Оттого ли, что годы изгнания ослабили духовную близость ее с родными? Или спешная работа не оставляла времени для этого?

Действительная причина такой сдержанности заключалась, может быть, в другом. Не случайно то обстоятельство, что письма Мари Кюри теряют свою оригинальность как раз в то время, когда история ее жизни начинает приобретать исключительный характер. Будучи гимназисткой, учительницей, студенткой, невестой, Мари могла быть откровенной. Но теперь ее обособляют от других тайна и неизъяснимое чувство своего призвания. Среди тех, кого она любит, для нее уже нет собеседника, способного ее понять, постичь ее заботу, трудность цели. Только одному человеку может она поверить свои думы: Пьеру Кюри, товарищу в жизни и в работе. Только ему она высказывает свои сокровенные мысли, свои мечты. Начиная с этого времени, всем другим, как бы они ни были дороги ее сердцу, Мари будет казаться почти заурядной личностью. Станет описывать только будничную сторону своей жизни. Временами у нее найдутся и прочувствованные выражения, чтобы похвалиться своим женским счастьем. Но о работе обмолвится лишь несколькими невыразительными короткими фразами в двух-трех строках... В этом мы чувствуем твердое желание не затрагивать в переписке самое сокровенное в своей жизни. Из шепотливой скромности, из отвращения к пустой болтовне, ко всякому позерству Мари прячется, пригибается к земле, или, вернее, показывает только один свой профиль. Стыдливость, отвращение, рассудок поднимают голос, и даровитая ученая ступевывается, принимает облик «обычной женщины».

Мари — Броне, 1899 год:

«...Живем по-прежнему. Много работаем, но спим крепко, а поэтому работа не вредит нашему здоровью. По вечерам во-

жусь с дочуркой. Утром ее одевая, кормлю, и около 9 часов я уже обычно выхожу из дому. За весь год мы не были ни разу ни в театре, ни на концерте, ни в гостях. При всем том чувствуем себя хорошо... Очень тяжело только одно — отсутствие родимой семьи, в особенности вас, мои милые, и папы. Часто и с грустью думаю о своей отчужденности. Ни на что другое я пожаловаться не могу, поскольку состояние нашего здоровья неплохое, ребенок хорошо растет, а муж у меня — лучшего даже нельзя себе вообразить, это настоящий божий дар, и чем дольше живем мы вместе, тем сильнее любим друг друга.

Наша работа продвигается вперед. Скоро я буду делать о ней доклад, он был назначен на прошлую субботу, но я не смогла присутствовать, поэтому он состоится непременно или в субботу, или же через две недели».

Работа, лишь сухо упомянутая в письме Мари, блестяще продвигается вперед. В течение 1899 и 1900 годов Пьер и Мари опубликовали статью об открытии индуцированной радиоактивности, вызываемой радием, другую статью — о явлениях радиоактивности и третью — о переносе электрического заряда посредством обнаруженных лучей. Наконец, для Физического конгресса 1900 года они пишут общий обзор по исследованию радиоактивных веществ, который вызывает огромный интерес в научном мире.

* * *

Развитие новой науки о радиоактивности обещает принять ошеломляющий размах. Чета Кюри нуждается в помощниках. До сих пор им помогал только один лабораторный служитель института по имени Пти, отличный человек, который по собственному желанию и почти тайком заходил поработать с ними во внеслужебные часы. Но теперь им нужны сотрудники более высокой квалификации. Их открытие намечает дальнейшие, очень важные работы в области химии, которые требуют внимательного изучения. Кюри хотят объединиться со знающими исследователями.

«Нашу работу по радиоактивности мы начали в одиночестве, — запишет Мари. — Но ввиду широты самой задачи все большее и большее значение для пользы дела приобретало сотрудничество с кем-нибудь еще. Уже в 1898 году руководитель научных работ института Ж. Бемон оказал нам временную помощь. Незадолго до 1900 года Пьер Кюри познакомился с мо-

лодым химиком Андре Дебьерном, работавшим препаратором у профессора Фриделя, который очень ценил его как ученого. На предложение Пьера Андре Дебьерн охотно выразил свое согласие заняться радиоактивностью; он предпринял исследование нового радиоэлемента, существование которого предполагалось в группе железа и редких земель. Он открыл этот элемент, названный актинием. Хотя Андре Дебьерн работал в физико-химической лаборатории Сорбоннского университета, руководимой Жаном Перреном, он часто заходил к нам в сарай, вскоре став очень близким другом и нашим, и доктора Кюри, а впоследствии и наших детей».

Так, еще до выделения полония и радия французский химик Андре Дебьерн открыл их «брата» — актиний.

«В это же время,— рассказывает Мари,— французский физик Жорж Саньяк, занятый изучением X-лучей, часто заходил поговорить с Пьером Кюри об аналогиях, которые можно провести между X-лучами, их вторичными лучами и излучением радиоактивных тел. Они совместно сделали работу о переносе электрического заряда вторичными лучами».

Все это время Мари обрабатывает, килограмм за килограммом, тонны урановой руды, присланные в несколько приемов из Иохимсталя. С удивительным упорством в течение четырех лет она ежедневно перевоплощалась по очереди в ученого, квалифицированного научного работника, инженера и чернорабочего. Благодаря ее уму и энергии все более и более концентрированные продукты с большим и большим содержанием радия появлялись на ветхих столах сарая. Мари Кюри приближалась к своей цели. Прошло то время, когда она стояла во дворе в клубах дыма и следила за тяжелыми котлами, где растворялся исходный материал. Наступает следующий этап в работе — очистка и дробная кристаллизация растворов высокой радиоактивности. Теперь необходимо предельно чистое помещение с аппаратурой, изолированной от пыли и от влияния колебаний температуры. В жалком, продуваемом со всех сторон сарае носится пыль с частицами железа и угля, которые примешиваются к старательно очищенным продуктам переработки, что приводит Мари в отчаяние. У нее болит душа от ежедневных происшествий такого рода, попусту отнимающих и время, и силы.

Пьеру так надоела эта бесконечная борьба, что он готов отказаться от нее. Будем понимать его правильно: он и не думал бросать исследования радия и радиоактивности, но охотно

бы приостановил на данный момент специальные технические операции по выделению чистого *радия*. Препятствия к этой работе казались непреодолимыми. Разве нельзя возобновить ее позднее, в лучших условиях? Более склонный искать в природе значение ее явлений, чем их материальную реальность, Пьер Кюри выходит из себя при виде тех ничтожных результатов, какие получаются от изнурительных работ Мари. Он ей советует сделать передышку.

Но Пьер не ушел характера своей жены. Мари хочет выделить радий, и выделит. Она не обращает внимания ни на переутомление, ни на трудности, ни на пробелы в своих знаниях, усложняющие ее задачу. В конце концов она еще очень молода в науке. В ней нет ни уверенности, ни глубокой научной культуры, как у Пьера, работающего уже двадцать лет; то и дело она наталкивается на явления и методы, мало ей знакомые, и тогда приходится наспех собирать сведения о них из литературы. Ну и пусть трудно! С упрямством она хватается за свою аппаратуру и пробирки.

В 1902 году, спустя сорок восемь месяцев с того дня, когда супруги Кюри заявили о вероятном существовании радия, Мари наконец одерживает победу. Ей удалось выделить один дециграмм чистого радия и установить его атомный вес, равный 225.

Неверующим химикам — такие еще оставались — пришлось только склониться перед фактами и перед сверхчеловеческим упорством этой женщины. Теперь радий получил официальное признание.

* * *

Девять часов вечера. Пьер и Мари у себя дома на бульваре Келлермана. Дом очень их устраивает. Со стороны бульвара, где тройной ряд деревьев наполовину заслоняет укрепления, видны только нависающая печаль стена и маленький подъезд, но за этим двухэтажным флигелем скрывается от посторонних глаз небольшой садик провинциального вида, довольно милый и очень тихий. Оттуда можно через заставу Шантийи укатить на велосипедах в предместье, а затем в леса.

Старый доктор Кюри удалился к себе в комнату. Мари выкупала дочку и уложила ее спать, довольно долго постояла у кровати. Это ритуал. Если Ирен вечером не чувствует матери около себя, она без усталости зовет ее тем «Ма!», которое навсегда заменит у нее слово «мама». Тогда Мари, уступая маленькому четырехлетнему деспоту, взбирается на второй

этаж, усаживается у изголовья дочки и сидит в темноте, пока детский голосок не перейдет в ровное дыхание.

Только тогда она спускается вниз к Пьеру, уже проявляющему нетерпение. Несмотря на всю мягкость своего характера, он до такой степени привык к постоянному обществу жены, что малейшее отклонение от этого мешает ему сосредоточиться. Стоит Мари чуть дольше задержаться, как он встречает ее горьким упреком: «Ты только и занята ребенком!».

Пьер прожигается по комнате, Мари садится и начинает подшивать незаконченный край нового фартучка для Ирен. Одно из ее основных правил — никогда не покупать для девочки готовых платьев; по ее мнению, они слишком дороги и неудобны. В те времена, когда Броня жила еще в Париже, обе сестры шили платья своим дочкам по выкройкам собственного изобретения. Эти выкройки служат Мари и до сих пор...

Но в этот вечер она не в состоянии сосредоточить свое внимание. Нервничая, Мари встает и откладывает в сторону работу. И вдруг говорит:

— А не пойти ли нам туда?

Просительная интонация в ее вопросе оказывается лишней, потому что Пьеру также не терпится пойти в сарай, откуда они ушли два часа тому назад. Радий, капризный, как живое существо, притягательный, как любовь, зовет их к себе, в свое жилище, в их убогую лабораторию.

Рабочий день выдался трудный, и было бы разумнее для двух ученых дать себе отдых. Но Пьер и Мари не всегда разумны. Они накидывают на себя плащи, предупреждают доктора Кюри о своем бегстве и скрываются. Идут пешком, под руку, изредка обмениваясь несколькими словами. Они минуют людные улицы этого отдаленного квартала, заводские мастерские, пустыри, дома бедняков, доходят до улицы Ломои и пересекают двор. Пьер вкладывает ключ в замочную скважину, дверь скрипит, как тысячи раз прежде, и вот они в своих владениях, в царстве своей мечты.

— Не зажигай свет,— говорит Мари. И добавляет тихо:— Помнишь день, когда ты сказал: «Мне бы хотелось, чтобы у радия был красивый цвет».

Действительность, уже несколько последних месяцев восхищающая Мари и Пьера, превзошла все желания. У радия есть нечто важнее, чем красивый цвет: он излучает свет! И среди темного сарая стеклянные сосудики с драгоценными частицами радия, расставленные, за отсутствием шкафов, просто на столах, на прибитых к стенам дощатых полках, сияют голубоватыми фосфоресцирующими силуэтами, как бы вислящими во мраке.

— Гляди... гляди! — шепчет Мари.

Она осторожно продвигается вперед, нащупывает рукою плетеное кресло и садится. В темноте, в безмолвии, два лица обращены к бледному сиянию, к таинственному источнику лучей — к радию, их радио! Наклонив корпус вперед, с напряженным лицом Мари сидит в том же положении, как и час тому назад у изголовья своего заснувшего ребенка.

Рука друга тихо гладит ее по волосам.

Навсегда запомнится ей этот вечер...

ТРУДНОЕ ЖИТЬЕ

Пьер и Мари жили бы вполне счастливо, если бы в жаркий бой с природой, какой они вели на поле битвы их жалкого сарая, могли вложить все свои силы.

Увы! Им приходится вступать в бой другого рода и терпеть в них поражения.

За пятьсот франков в месяц Пьер читает в Школе физики курс из ста двадцати лекций и, сверх того, руководит практическими занятиями студентов. Помимо этой утомительной педагогической работы он занимается научными исследованиями. Пока у четы Кюри не было детей, пятисот франков хватало на домашние расходы. Но после рождения Ирен наем служанки и кормилицы сильно отразился на бюджете. Пьер и Мари предпринимает поход за новыми денежными средствами.

Трудно себе представить что-нибудь более прискорбное, чем те неловкие и неудачные попытки, какие делали два крупных ученых, стараясь добыть нехватавшие им две-три тысячи в год. Дело было не в том, чтобы просто получить какую-нибудь незначительную должность и покрыть этим дефицит. Как мы уже знаем, Пьер Кюри видел в научных исследованиях непреодолимую потребность своей жизни. Работать в лаборатории — пусть хоть в сарае, раз нет настоящей — было для Пьера более необходимо, чем есть или спать. Но его служебные обязанности в институте поглощали большую часть времени. Нельзя было брать на себя новые нагрузки, а наоборот, требовалось уменьшить уже существующие. Как тут быть?

Выход из положения мог бы быть простым, совсем простым. Если бы Пьера назначили профессором в Сорбонне, а сделанные им работы, совершенно очевидно, давали ему право на это место, он получал бы десять тысяч франков в год, читал меньше лекций, чем в институте, а его знания обогащали бы студентов и подняли престиж университета. А если бы эта профессура была дополнена лабораторией, Пьеру было бы не-

чего просить у провидения. У него лишь два желания: профессорская кафедра для обеспечения своей семьи и для обучения молодых физиков, затем лаборатория, оснащенная электрическим и техническим оборудованием, с местами для нескольких ассистентов, сравнительно теплая зимой...

Безумные требования! Профессорскую кафедру Пьер получит лишь в 1904 году, когда о нем заговорит весь мир. Лабораторию же он так и не получит до конца жизни. Гениальных людей смерть настигает раньше, чем их успевают признать власти.

Пьер, рожденный, чтобы раскрывать таинственные явления природы, чтобы бороться с противостоящей ему материей, оказывается воплощенной несуразностью, когда надо добиться какого-нибудь места. Первый минус: он талант, а в условиях личной конкуренции это вызывает тайную, непримиримую враждебность. Он невежда в области интриги, всяких комбинаций. Самые бесспорные его заслуги бесполезны, он не умеет пускать их в ход. «Всегда готовый ступаться перед своими друзьями и даже перед своими соперниками, Кюри принадлежал к разряду так называемых «кандидатов-неудачников», — скажет впоследствии Анри Пуанкаре. — Но при нашей демократии таких кандидатов очень много...»

В 1898 году открылась кафедра физической химии в Сорбонне. Пьер Кюри решает ходатайствовать о предоставлении этой кафедры ему. По справедливости такое назначение напрашивалось само собой. Но Пьер не окончил Нормальной школы, не учился в Политехническом институте, а следовательно, у него не было той прочной основы, какую дают эти учреждения своим ученикам. Кроме того, некоторые дотошные профессора утверждают, что его работы, опубликованные за последние пятнадцать лет, имеют лишь косвенное отношение к физической химии. Кандидатура Пьера отклонена.

«Мы потерпели поражение, — пишет Пьеру Кюри один из его сторонников, профессор Фридель, — и мне ничего не оставалось бы, как только сожалеть о том, что мы уговорили Вас выставить Вашу кандидатуру, не имевшую успеха, если бы само обсуждение ее не проходило гораздо благоприятнее для Вас, чем голосование. Но, несмотря на старания Липпманна, Буги, Пелла и мои, несмотря на похвалы Вам даже со стороны противников, несмотря на Ваши прекрасные работы, что можно было выдвинуть против кандидата, окончившего «Эколь нормаль», и предвзятого отношения математиков?»

Конечно, благожелательное обсуждение кандидатуры Пьера приносит некоторое утешение, но ... платоническое. Проходят месяцы, а ни одного интересного места не освобождается, и супруги Кюри, всецело увлеченные большой работой по исследованию радия, предпочитают жить перебиваясь, вместо того чтобы терять время, ожидая в приемных. Однако же — и это надо подчеркнуть — они не унывают и не жалуются на судьбу. В конце концов пятьсот франков — это еще не бедность. Жизнь налаживается... плоховато.

Мари — Юзефу Склодовскому, 19 марта 1899 года:

«Нам приходится быть очень осмотрительными, так как жалованья мужа не вполне хватает на жизнь, но до сих пор сжестодно у нас бывали кое-какие неожиданные приработки, так что дефицита пока нет.

Впрочем, надеюсь, что муж или я получим вскоре место с твердым окладом. Тогда мы сможем не только сводить концы с концами, но даже скопить немного денег для обеспечения будущего нашего ребенка. Но раньше чем искать себе место, я хочу защитить докторскую диссертацию.

В настоящее время у нас столько работы с нашими новыми металлами, что я не в состоянии писать докторскую диссертацию, хотя, правда, она должна основываться как раз на этих работах, но требует дополнительных опытов, а сейчас у меня нет возможности заняться ими.

Наше здоровье в хорошем состоянии. Мой муж меньше страдает от ревматизма. Я чувствую себя хорошо, совсем перестала кашлять, в легких чисто, как это установило и медицинское обследование и анализ мокроты.

Ирсен развивается нормально. После восемнадцати месяцев я отняла ее от груди, но, конечно, еще раньше подкармливала молочными супами. Теперь кормлю ее теми же супами и свежими яйцами, «прямо из-под курицы».

1900-й год... В счетной тетрадке расходы все растут и превышают приход. Теперь старик доктор Кюри живет вместе с сыном, и Мари, чтобы разместить своих домашних — пять человек, считая служанку, — сняла флигель на бульваре Келлермана за тысячу четыреста франков в год. В силу необходимости Пьер ходатайствует о месте в Политехническом институте. Просьба его удовлетворена, и за свою работу он станет получать две тысячи пятьсот франков в год.

И вдруг совершенно неожиданное предложение... но не из Франции. Открытие радия не дошло до сведения широкой пуб-

лики, но стало известно физикам. Женевский университет с целью привлечь мужа и жену, стоявших, по его мнению, в первом ряду европейских ученых, решил сделать исключительный шаг. Декан факультета предлагает Пьеру Кюри кафедру физики, жалование в десять тысяч франков в год, оплату квартиры и руководство лабораторией, причем «кредиты на нее будут увеличены по соглашению с профессором Кюри, и ему будут даны два ассистента. По рассмотрению наличных средств лаборатории набор физических инструментов будет пополнен». В той же лаборатории представлялось штатное место и Мари.

Судьба иной раз любит подшутить: она подносит вам то, что вы больше всего хотели получить... но в таком чуть измененном виде, что принятие этого делается невозможным. Достаточно было бы на конверте этого великодушного письма вместо «Республика и кантон Женевы» прочесть: «Парижский университет», как супругов Кюри стали бы превозносить на все лады.

Женевское предложение было сделано с такой сердечностью, с таким уважением, что Пьер под первым впечатлением согласился. В июле он и Мари едут в Швейцарию, где их коллеги оказывают им наилучший прием. Но за лето рождаются сомнения. А не придется ли им потерять несколько месяцев, посвятив их подготовке к преподаванию такого важного предмета? Времени прекратить исследования радия, которые не легко перенести в другое место? Отложить работы по выделению его в чистом виде? Все это слишком большие жертвы для двух ученых — ярых, одержимых.

Тяжко вздыхая, Пьер Кюри пишет в Женеву письмо со всякими извинениями и благодарностями, отказываясь от кафедры. Он отклоняет соблазнительное предложение и решает из любви к радю остаться в Париже. Он бросает Политехнический институт и переходит на лучше оплачиваемое место преподавателя в Институт физики, химии и естественных наук на улице Кювье, рядом с Сорбонной. Мари, желая принять участие в жизненных заботах, выставляет свою кандидатуру на место преподавательницы в Высшей нормальной школе для девиц в Севре, близ Версаля. От заместителя ректора она получает письменное уведомление о своем назначении:

«Мадам, имею честь сообщить Вам, что, по моему предложению, на Вас возлагается в учебном 1900/01 году преподавание физики на первом и втором курсах Севрской нормальной школы.

Будьте любезны поступить в распоряжение мадемуазель Директрисы с будущего понедельника, т. е. 29 сего месяца».

Сразу две «удачи». Бюджет сбалансирован теперь надолго, но оба Кюри оказываются непомерно перегруженными работой как раз в то время, когда опыты по радиоактивности требуют от них напряжения всех сил. Пьеру не дают единственно достойного для него места — кафедры в Сорбонне. Но с большой готовностью поручают такому выдающемуся ученому занятия второстепенного значения, отнимающие время у науки.

Оба супруга Кюри сидят над учебниками, придумывают задачи, намечают курсовые работы. На Пьера навалилось преподавание в двух местах и практические занятия с двумя группами учеников. Мари, озабоченная своим дебютом на поприще французской педагогики, тратит много сил на подготовку к урокам и на организацию лабораторных работ. Она вносит свежую струю в методы преподавания и так своеобразно ведет уроки, что ректор Люсьен Пуанкаре изумляется и поздравляет ее с успехом. Мари не умеет делать что-нибудь иначе, чем наилучшим образом.

Сколько растрченных сил, сколько времени, потерянного для настоящей работы! Набив портфель исправленными тетрадями своих учениц, Мари несколько раз в неделю ездит в Севр на трамвае, доводящем до отчаяния своей медлительностью, вдобавок приходится ждать его по полчаса, стоя на тротуаре. Пьер бежит с улицы Ломон на улицу Кювье, а оттуда обратно на улицу Ломон, в свой сарай. Едва начнет он какой-нибудь опыт, как надо его бросить и бежать в другое место — экзаменовать безбородых физиков...

Можно было бы надеяться, что на новом месте он получит лабораторию. Лаборатория утешила бы его вполне! Но нет... В Институте физики, химии и естественных наук ему отводят две маленькие комнатки. Он так разочарован, что, превозмогая свое отвращение ко всяким просьбам, пытается испросить себе помещение большего размера. Безуспешно.

«Каждый, кто предпринимал ходатайство такого рода, — пишет Мари, — хорошо знает, сколько финансовых и административных препятствий встречает он при этом, сколько нужно официальных писем, визитов, заявлений, чтобы добиться малейшего успеха. Пьер невыносимо уставал от этого и приходил в отчаяние».

Эти усилия супругов Кюри отражаются на их работе и даже на здоровье. Пьер настолько устал, что приходится срочно уменьшать число его «часов». В Сорбонне оказывается свободной кафедра минералогии, и такой ученый, как автор основных работ по физике кристаллов, в особенности подходил

для замещения ее. Пьер выступает соискателем. И снова верх одерживает конкурент.

«При больших заслугах и при большой скромности можно долго пребывать в неизвестности», — писал Монтэнь.

Друзья Пьера Кюри стараются всеми способами продвигнуть его на профессорское место. В 1902 году профессор Маскар настаивает на том, чтобы Пьер выставил свою кандидатуру в Академию наук. Успех ему обеспечен, а это очень значительно улучшит его материальное положение.

Пьер колеблется, но потом соглашается без особого удовольствия. Он с трудом обрекает себя на необходимость нанести визиты академикам, выполняя традиционный обычай, который представляется ему унижительным и нелепым. Физическое отделение академии единогласно высказывается за Пьера. Он тронут этим и выступает кандидатом. Получив от профессора Маскара должное внушение, он просит каждого из членов знаменитого сообщества назначить ему аудиенцию.

Имя Пьера получит широкую огласку после того, как журналисты расскажут пикантные анекдоты об известном ученом, а один из них опишет «объезд» академиков Пьером Кюри в мае 1902 года в таких выражениях:

«...Подниматься по лестнице, звонить, просить доложить о себе, говорить, зачем пришел, — одно это невольно переполняет кандидата чувством стыда; но это еще не все: необходимо перечислить свои заслуги, хорошо отзываться о самом себе, похвалиться своими знаниями, работами, а ему кажется, что вся эта процедура превышает человеческие силы. Затем он искренне и щедро расхваливает своего конкурента, уверяя, что месть Амага имеет гораздо больше оснований баллотироваться в Академию, чем он, Кюри!»

Результаты выборов опубликованы 9 июня. При обсуждении двух кандидатов — Пьера Кюри и Амага — академики предпочли последнего.

В письме к своему близкому другу Жоржу Гун Пьер сообщает ему эту новость:

«Дорогой друг, как Вы и предвидели, выбор пал на Амага, получившего 23 голоса, тогда как я получил 20, а Жерне — 6.

В общем, я сожалею, что потратил так много времени на визиты для получения столь блестящего результата. Отделение представило меня единогласно, из-за этого я и согласился.

Передаю Вам эти сплетни, зная, что Вы охотник до таких вещей, но не думайте, что я сильно огорчен таким маловажным обстоятельством.

*Преданный Вам
Пьер Кюри».*

Новый декан, Поль Аппель, тот самый профессор, лекции которого слушала Мари с таким восторгом, вскоре пытается действовать в интересах Пьера другим образом.

Поль Аппель — Пьеру Кюри:

«Министр требует от меня представлений к награде орденом Почетного легиона. Вы должны стоять в этом списке. Я прошу Вас, как об услуге факультету, разрешить мне внести Вас в список. Я знаю, что человеку такого значения, как Вы, орден совсем не интересен, но мне важно представить наиболее достойных членов факультета, тех, кто наиболее отличился своими открытиями и работами. Это способ ознакомить министра с ними и показать, как мы работаем в Сорбонне. Если Вас наградят, то станете ли Вы носить орден или нет, это, конечно, будет зависеть только от Вашего желания, но я прошу Вас: разрешите представить Вас.

Извините меня, дорогой коллега, за надоедливость и будьте уверены в моей сердечной преданности».

Поль Аппель — Мари Кюри:

«...Несколько раз я говорил ректору Лиару о прекрасных работах господина Кюри, о непригодности его рабочего помещения, о том, как было бы важно дать ему хорошую лабораторию. Господин ректор доложил о Кюри министру и воспользовался для этого таким удобным случаем, как представление его к награде орденом Почетного легиона в связи с Четырнадцатым июлем. Министр, видимо, очень заинтересовался господином Кюри и, может быть, хотел бы для начала выказать свой интерес к господину Кюри, наградив его орденом. В этом предположении я просил бы Вас использовать все Ваше влияние для того, чтобы господин Кюри не отказался. Сама по себе эта награда не имеет явного значения, но по своим последствиям — лаборатории, кредиты и т. п. — имеет значение большое.

Прошу Вас воздействовать на господина Кюри во имя науки и высших интересов факультета, чтобы он предоставил мне свободу действий».

На этот раз Пьер Кюри не «предоставил свободу действий». Всегдашнее отвращение ко всяким почестям вполне оправдывает его поведение. Пьера Кюри возмущает и другое. Ему действительно кажется смешным, что человеку науки отказывают в средствах для работы, а в то же время предлагают как поощрение, как «хорошую отметку» эмалевый крестик на красной ленточке.

Вот ответ Пьера Кюри декану:

«Прошу Вас, будьте любезны передать господину министру мою благодарность и уведомить его, что не имею никакой нужды в ордене, но весьма нуждаюсь в лаборатории».

* * *

Надежда на облегчение существования исчезла. Не получив желанного помещения для своих опытов, супруги Кюри довольствуются сараем, и долгие часы горячей, увлекательной работы служат им утешением в их неудачах. Они продолжают преподавательскую деятельность. Делают это добросовестно, без огорчения. Не один юноша с благодарностью вспомнит живые, ясные лекции Пьера. Не одна «севрянка» будет обязана своей склонностью к знанию преподавательнице Мари. Разрываясь на части между научными исследованиями и преподаванием, Пьер и Мари забывают о пище и сне. «Нормальный» образ жизни, когда-то установленный самой Мари, ее достижения как поварики и хозяйки дома — все забыто. Оба супруга слишком перенапрягают свои силы, доходя до истощения. Повторные приступы невыносимой боли в руках и ногах вынуждают Пьера слезь в постель. Мари держится на одном нервном напряжении и пока не сдастся; излечив своеобразным методом презрения и ежедневного нарушения режима туберкулез, вызывавший столько опасений у ее родных, Мари считает себя неуязвимой. Но в маленькой записной книжке, куда она заносит систематически свой вес, с каждой неделей числа становятся все меньше. За четыре года работы в их сарае Мари похудела на семь килограммов. Друзья дома отмечают ее бледность и нездоровый вид. Один молодой физик даже пишет Пьеру Кюри письмо, где умоляет его побережь здоровье и собственное, и Мари. Его письмо рисует тревожную картину жизни четы Кюри, их самопожертвования.

Жорж Саньяк — Пьеру Кюри:

«...увидав мадам Кюри на заседании Физического общества, я поразился тому, насколько изменились черты ее лица. Мне хорошо известно, что причиной ее переутомления является подготовка диссертации. Но мне эта причина ясно говорит об отсутствии у нее достаточных сил, чтобы жить такой чисто умственной жизнью, какую Вы ведете, и все, что я говорю, относится и к Вам лично.

В подтверждение моей мысли приведу только один пример: Вы почти ничего не едите, ни тот, ни другой. Неоднократно я видел, как мадам Кюри наспех жует несколько кусочков колбасы и запивает чашкой чаю. Как Вы думаете, может ли организм, даже крепкий, не пострадать при таком недостаточном питании? А что будет с Вами, если мадам Кюри потеряет здоровье?

Возможно, что Вы и встретите с ее стороны пренебрежение или упрямство, но это не послужит Вам извинением. Я предвижу Ваше возражение такого рода: «Она не чувствует голода. Она взрослый человек и знает, что делает!» Нет, это не так. Сейчас она ведет себя, как ребенок. Говорю Вам это по-дружески, с полным убеждением.

Вы не уделяете достаточно времени для принятия пищи. Вы кушаете, когда придется, а вечером ужинаете так поспешно, что желудок, утомленный ожиданием, в конце концов отказывается действовать. Несомненно, может иной раз случиться, что какое-нибудь исследование отсрочит Ваш обед до вечера, но Вы не имеете права возводить это в правило. Нельзя заполнять научными занятиями все моменты своей жизни, как это делаете Вы. Надо давать телу передышку. Надо спокойно сесть за стол и кушать медленно, избегая разговора о вещах грустных или утомительных для ума. Во время еды нельзя читать, нельзя говорить о физике...»

На все упреки и наставления такого рода Пьер и Мари нанивно отвечают: «Мы же отдыхаем. Летом мы уезжаем на каникулы».

* * *

Летом они действительно пользуются отдыхом или, вернее говоря, думают, что это отдых. В разгар лета они, как и прежде, ездят с места на место. По их мнению, отдыхать — это значит объехать на велосипедах все Северные, как было в 1898 году. Спустя два года они проехали все побережье Ла-Манша от Гавра до Сен-Валери-де-Сомм, а затем отправились на остров Нуармуте. В 1901 году их встречают в Пульдю, в 1902 году —

в Арроманше, в 1903 году — в Ле-Трипоре, потом в Сен-Трожане.

Дают ли все эти разъезды необходимый им физический и духовный отдых? Можно сомневаться. И виноват в этом Пьер, которому не сидится на одном месте. Пробыв где-либо два-три дня, он уже заговаривает о Париже и мягко обращается к жене:

— А уж давно мы ничего не делали!

В 1899 году Кюри предприняли поездку в далекие края, доставившую им много радостей. Впервые после своего замужества Мари приехала на родину, но не в Варшаву, а в Закопане, где Длусские строили свой санаторий для больных туберкулезом. Рядом со строительными лесами, на которых работало много каменщиков, в пансионе «Егерь» приютилась теплая компания. Тут остановился старик Склодовский, еще очень подвижный, помолодевший от радости, что вокруг него собрались все его дети, четыре молодые семьи. Как быстро пронеслись годы! Еще недавно его три дочери и сын бегали в Варшаве по урокам... А теперь Юзеф — уважаемый врач, обзавелся семьей, детьми; Броня и Казимеж строят санаторий; Эля преуспевает в педагогике, а ее муж Станислав Шалай управляет большим предприятием по графике и фототехнике; Маня работает в лаборатории, и ее статьи напечатаны! Милая «плутовка» — как звали в детстве эту любимицу семьи.

Пьер Кюри, как иностранец, оказывается предметом всеобщего внимания. Поляки с гордостью показывают ему Польшу. Сначала он не проявляет большого восхищения этой суровой страной с мрачными соснами, тянущимися к небу, но после экскурсии на вершины Ризи его затронула поэзия и величавость этих высоких гор. Вечером он говорит жене в присутствии ее родных:

— Красивая страна. Теперь я понимаю, что можно ее любить.

Пьер умышленно сказал это по-польски, чем и пленил своих свойственников, несмотря на плохое произношение. На сияющем лице Мари он уловил наивно-самодовольную улыбку...

Спустя три года, в мае 1902 года, Мари вновь села в поезд, отходящий в Польшу. Она получила до этого несколько писем, извещавших о внезапной болезни отца, об операции желчного протока, откуда извлекли огромные желчные камни. Сначала приходили утешительные вести, и вдруг — телеграмма. Это был конец. В тот же момент Мари собралась ехать. Но выправить заграничный паспорт — дело не простое: прошло несколько часов, пока все бумаги оказались в порядке. Через двое с половиной суток Мари приезжает в Варшаву, в дом к Юзефу, где проживал старик Склодовский. Слишком поздно,

Мысль, что она не увидит его лица, невыносимо мучила ее. Известие о смерти отца застало ее в дороге. Мари ответной телеграммой умоляла сестер задержать погребение. Она проходит в комнату и с необычайной настойчивостью требует открыть уже заколоченный гроб. Ее желание исполнили. Глядя на безжизненное, спокойное отцовское лицо, Мари прощается с отцом и умоляет простить ее. В глубине души она не переставала упрекать себя за то, что осталась во Франции, обманув ожидания старика, который надеялся провести остаток своей жизни в ее присутствии. Стоя перед раскрытым гробом, в полной тишине, она шепотом продолжает упрекать себя, пока, наконец, брат и сестры не прекращают тяжелой сцены.

Это мучительное самобичевание несправедливо. Последние годы жизни ее отца протекли спокойно, счастливо, и в особенности благодаря ей. Окруженный любовью близких, удовлетворенный как отец и дед, старик Склодовский успел забыть былые превратности своей жизни. Самые последние, наибольшие радости доставляла ему как раз Мари. Открытие полония и радия, появление в «Докладах Парижской академии наук» поразительных сообщений за подписью его ребенка вызвали глубокое, хорошее воление в учителе физики, занятом ежедневным обязательным трудом, исключавшим возможность бескорыстного занятия наукой. Он следил за каждым шагом в работе своей дочери. Еще недавно Мари известила его о том, что после четырех лет настойчивой работы ей удалось добыть радий в чистом виде. И за шесть дней до своей смерти старик Склодовский начертил дрожащею рукой следующие строки уже не прежним четким, ровным почерком:

«Наконец ты располагаешь чистой солью радия! Если принять во внимание, сколько затрачено труда, чтобы добыть его, то, конечно, это самый дорогой из химических элементов. Жаль одного — что работа эта имеет интерес, по-видимому, только теоретический...»

Как был бы горд и счастлив старик отец, если бы прожил еще два года и узнал, что имя его дочери приобрело громкую известность, что Нобелевская премия присуждена Анри Беккерелю, Пьеру Кюри и Мари Кюри — его милому Аичупечо!..

Мари уезжает из Варшавы бледная, худая. В сентябре она вернется в Польшу. После горестной утраты Склодовские-дети чувствуют потребность собираться, как доказательство, что их братское единство нерушимо.

Октябрь. Пьер и Мари вернулись в свою лабораторию. Оба устали. Мари помогает в исследованиях мужу и в то же время записывает результаты своих работ по выделению радия. Но она пала духом, у нее ни к чему нет интереса. То страшное напряжение, какому она так долго подвергала свою нервную систему, вызвало странные явления: по ночам на нее находили приступы сомнамбулизма, она вставала с постели и бессознательно бродила по дому.

Наступивший год также приносит печальные события. Прежде всего беременность Мари, закончившаяся преждевременно выкидышем. Мари трагически переживает это разочарование.

Мари — Броне, 20 августа 1903 года:

«Я настолько убита этим несчастным случаем, что у меня нет мужества писать кому-либо о нем. Я так привыкла к мысли иметь этого ребенка, что не могу утешиться. Прошу тебя, напиши, надо ли мне, по твоему мнению, винить в этом общую усталость, так как должна сознаться, что не щадила своих сил. Я надеялась на крепость моего организма, а теперь горько сожалею об этом, заплатив так дорого за самонадеянность. Ребенок — девочка, в хорошем состоянии, была еще живой. А как я ее хотела!».

Несколько позже, уже из Польши, приходит дурная весть: второй ребенок Брони, мальчик, умер в несколько дней от менингита.

«Я совершенно подавлена несчастьем, какое обрушилось на Длусских, — пишет Мари своему брату. — Этот ребенок был воплощенное здоровье. Если возможно потерять такого ребенка, несмотря на хороший уход, мыслимо ли надеяться сохранить других детей и воспитать их? Я не могу без ужаса смотреть на свою дочку. Горе Брони разрывает мое сердце».

Эти печальные события омрачают существование Мари, а в то же время ее изводит другое тяжелое, мучительное обстоятельство: болеет Пьер. И раньше у него случались приступы болей, которые, вследствие неясных симптомов, врачи называли ревматическими, теперь они усилились и жестоко угнетают Пьера. Мучительно страдая, он стонет целые ночи напролет, а перепуганная жена ухаживает за ним.



Мать Марии Склодовской-Кюри



Отец Марии Склодовской-Кюри

Дом на Фретской улице в Варшаве, где родилась Мария Склодовская-Кюри. Здесь в настоящее время находится музей





Маня и Броня Склодовские (1886 год)

Флигель бывшего Музея промышленности и сельского хозяйства в Варшаве на улице Краковске пшед-месьце, где работала Мария Склодовская в 1890 году



*Мария Склодовская
(1894 год)*



*Сорбонна — крупней-
ший университет XIX
века. Здесь Марии
Кюри присудили сте-
пень доктора, здесь
она стала профессором
и читала курс лекций
по радиоактивности*





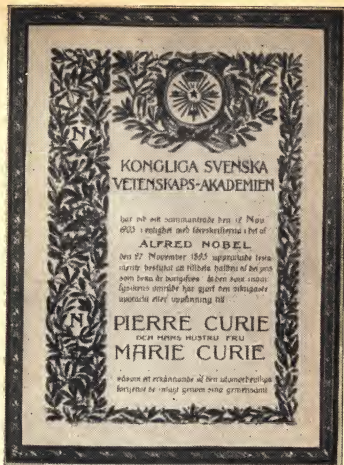
Мария Кюри в лаборатории

Сарай на улице Ломон





Мария и Пьер Кюри в лаборатории



Диплом лауреатов Нобелевской премии, врученный Пьеру и Марии Кюри



*Ирен, старшая дочь Мари
Кюри, в будущем лауреат
Нобелевской премии*



*Ева, младшая дочь Мари
Кюри, автор настоящей
книги*